

КОСТРОМА

ПРОЗА и ПОЭЗИЯ
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ



Кострома, 2004 г.



Составитель М.Ф. Базанков

Литературно-художественное издание

Редакционный совет: М.Ф.Базанков, Б.И.Бочкарев,
А.В.Беляев, С.В.Виноградова, О.Н.Гуссаковская,
Ю.В.Лебедев, В.В.Пашин, П.Р.Румянцев, Ю.Н.Семенов,
В.И.Шапошников

© Костромская областная писательская организация, 2004



Виктор ШЕРШУНОВ,
глава администрации Костромской области

ОПРАВДАНИЕ НАДЕЖД

Подготовка к юбилею Костромской области затрагивает самые важные направления перспективного развития в новых общественно-экономических условиях. Просчеты реформенного периода ослабили материально-техническую базу основных производственных отраслей, изменили настроение работников не только нашего региона, снизили уровень жизни. Вот почему, подводя итоги социально-экономического развития области в прошедшем году, мы проанализировали результаты за семь лет — от тотального кризиса до вступления в период стабилизации, который при политической стабильности обязывает на всех уровнях управления обеспечить прорыв в новое качество экономики, в научно-технической и духовно-нравственной сферах. Такой государственный прорыв могут обеспечить нестандартные методы, мобилизация консолидированных сил и средств нации, опора на широкую поддержку народа, четкая и всем понятная стратегия развития России на ближайшие годы.

Да, живем трудно, у населения много претензий к власти, но за семь лет заложены перспективные основы использования потенциала области для того самого экономического прорыва по фундаментальным наработкам. Этот вектор развития связан с ростом объемов производства на основе модернизации старых и строительства новых предприятий, дорог, газопровода, оздоровления сельского хозяйства, с реформированием управления природными ресурсами, увеличением инвестиций и товарооборота, а на этой основе — с повышением уровня жизни. Чтобы обеспечить увеличение валового регионального продукта и преодолеть бедность, необходимо коренным образом пересмотреть подходы к работе всех отраслей. Такие глобальные задачи определены в послании

президента В. В. Путина Федеральному собранию. С учетом этих задач многие положительные наработки мы включили в региональную стратегию развития области до 2015 года. К примеру, проект строительства целлюлозно-бумажного комбината в Нее, поддержанный правительством и президентом, связан с рациональным использованием наших природных ресурсов, с решением социальных проблем. Природные богатства надо рационально употреблять для жизни людей. Именно разработки мирового уровня будут привлекать в область инвестиции, позволят внедрять инновации, менять производственные отношения, повысят интеллектуальный и технический уровень современных рабочих. Надеюсь, что изменится к лучшему жизненный тонус в дальних районах, а это повлияет и на выбор профессий, места жительства молодыми людьми.

Сегодня без отчетливой перспективы нельзя создать праздничное настроение. Юбилей области мы рассматриваем как возможность концентрированного осмысления тех или иных перемен, коллективного поиска путей преодоления кризиса и создания условий для реализации патриотического стремления к достойной жизни с учетом конкретных особенностей природы, быта, культуры. Надо признать, руководство области, занятое экономическими проблемами, не учло в должной мере самочувствие талантливых людей не только в районах, но и в областном центре, в частности, писателей, оставленных в реформенных условиях без законодательной защиты — до сих пор не определен статус творческого работника, не принят закон о творческих союзах. Каждый регион по-разному находит возможность для издания произведений, поддержки литературного труда. Наша дотационная область еще не выработала собственной необходимой системы.

В юбилейный год полезно оглянуться на достижения костромской литературы, вспомнить произведения Катенина, Жадовской, Максимова, Островского, Писемского, Касаткина, Маркова, Комиссаровой, Осетрова, Никитина, братьев Алешиных, Бочарникова, Абатурова, Корнилова, Часовникова, Миловой, Старшинова, Румянцева и многих других. В августе 1944 года административно восстановленная Костромская область сразу ощутила новый литературный подъем. В 1946 году начало работать областное книжное издательство, вышел альманах «Кострома», вскоре — журнал «Костромская земля рассказывает...», областная газета часто печатала произведения поэтов и прозаиков. В июле 1961 года была юридически оформлена областная писательская организация. Книги костромичей большими тиражами выходили в Костроме, Ярославле, Москве.

Писатели продолжают лучшие традиции. К сожалению, и самые известные из них не имеют выхода на всероссийскую читательскую аудиторию, не могут своевременно издавать новые произведения. Надо признать, эпизодическое административное внимание по ходатайствам не освобождает нас от постоянной заботы о творческих людях. Требуется здесь не только законодательное обоснование вознаграждений за востребованный труд, но и понимание необходимой системы перспективной работы. Укрепляя экономическую базу, мы должны одновременно решать социальные проблемы, чтобы преодолеть материальную бедность и создать условия для соответствующего востребования наделенных талантом. Они все еще ждут и надеются на перемены к лучшему. Мы закладываем базу оправдания этих надежд.

Виталий Пашин

«ХОРОША НАША ГУБЕРНИЯ...»

Спасибо Н. А. Некрасову за эту реплику, брошенную не ради красного словца. Знать, такой она и была в его время. А теперь?

Костромские старожилы до сих пор в недоумении: почему в первое десятилетие Советской власти была ликвидирована как административная «единица» Костромская губерния? Ее расчленили на несколько частей и роздали соседним регионам, чтобы и духу от губернии не осталось.

За что такая немилость? Вроде бы и не было особой необходимости проводить вивисекцию. А вот на тебе — не приглянулась она новой власти. Впрочем, если принять во внимание некоторые исторические события, то становится понятной предвзятость большевистских вождей при вынесении нашей губернии столь сурового приговора.

Недоверие к костромскому народу со стороны верховной власти кое-кто объясняет тем, что отсюда был призван на царство Михаил Романов, что тут находилась его вотчина — романовское «слово», что во время празднования 300-летия Дома Романовых в Костроме проходили главные торжества, свидетельствующие о верноподданнических чувствах местных жителей, что здесь возводился величественный памятник царской династии, превосходящий своими размерами все прочие монументы провинциальной России...

Одним словом, монархическая сторона, и люди в ней... не без царя в голове. Кто уберет от смерти первого Романова?

Костромской мужик Сусанин. Кто спустя два с половиной века подтолкнул руку террориста, стрелявшего в царя-освободителя Александра II? Опять же костромской мужик Комиссаров. И обратите внимание на их имена: Иван Осипович Сусанин и Осип Иванович Комиссаров. Нет ли в этом какого-то магического знака?

Только в годы Великой Отечественной войны, когда перед лицом опасности уравнились в правах все территории страны, костромской земле был дарован статус области. Правда, по площади и по народонаселению она стала меньше губернии. Остались у соседей исконно костромские поселения: Кинешма, Плес, Варнавин, Ветлуга, Юрьевец и др. Зато кое-что «по мелочи» прибавилось.

Прежде чем стать современной административно-территориальной единицей — областью России, костромской удел претерпел длинный ряд метаморфоз. Одни из них — социально и экономически оправданы, другие были плодом волюнтаристских решений и, естественно, замедляли ход исторического процесса. Но, как бы то ни было, из песни слова не выкинешь...

Во времена феодальной раздробленности (XII — XIII века) значительная часть костромской земли в ранге удела была присоединена к набиравшему силу Владимиро-Суздальскому княжеству. Но образовавшиеся после кончины его правителя — Великого князя Ярослава Всеволодовича — Костромское и Галицкое удельные княжества получили некоторую самостоятельность и крепили год от года.

Костромской князь Василий, младший сын Ярослава, за четыре года до своей смерти унаследовал от старшего брата титул Великого князя, и Кострома на этот период времени сделалась стольным градом Владимиро-Суздальской Руси.

Когда в первой трети XIV века при Иване Калите возвысилось Московское княжество, Костромской удел, а вслед за ним и Галицкий стали управляться ставленниками Москвы. При Иване Грозном костромской край на какое-то время отошел в опричнину.

Коренные преобразования в административно-территориальном делении грянули при Петре Великом. Он разделил Российскую империю на восемь крупных губерний, и части костромской земли оказались в трех разных — Московской, Казанской и Архангельской. Но вскоре по новому указу были образованы Костромская и Галицкая провинции, входившие в Московскую губернию. Такое положение сохранялось до 1778 года, пока Екатерина II не разделила Россию на 50 наместничеств. Костромское наместничество состояло из двух областей: Костромской и Унженской. В них входило 15 уездов.

Костромское наместничество было составной частью более крупной административно-хозяйственной единицы — генерал-губернаторства. Сначала Ярославского, потом Нижегородского, затем Владимирского.

И только в 1797 году Павел I дал Костромскому наместничеству права самостоятельной губернии и назначил начальником Б. П. Островского. Сто тридцать два года пребывал костромской край в этом ранге и только в 1929 был его лишен. Большая часть бывшей губернии вошла в Ивановскую промышленную область, четыре района примкнули к Нижегородскому краю, а Вохомский район вошел в Северный край.

Нашей области в современных ее границах всего-то 60 лет. Но для нее это отнюдь не пенсионный возраст, а, будем надеяться, вступление в фазу мужания. Тем более, главный город наш только что шагнул во вторую половину девятого века. След в след за Москвой.

А если припомнить те стародавние времена, когда Кострома входила в десятку самых значимых великорусских городов и даже какой-то срок пребывала в ранге столицы Руси, то... Не будем приbedняться: костромские отходники когда-то строили Петербург, нынешние отходники — во властных и прочих структурах Москвы и Питера не последние люди.

Так что костромичам есть чем гордиться!

Евгений Степаненко

ДЕЛО О ФОНАРЯХ

В народе бытует выражение: «Положение хуже губернаторского», свидетельствующее о нелёгкой доле человека, наделенного немалой властью. Но, как это часто бывало на просторах российских, заполучив высокую должность, иные местные правители собственным поведением либо служебным рвением порождали проблемы, стоившие им заветного кресла. И Кострома здесь не являлась исключением.

В начале 50-х годов XIX столетия костромским губернатором стал статский советник Валериан Николаевич Муравьев, о котором Александр Николаевич Островский обмолвился: «Преумнейшая голова, одна из тех голов, кои только и могла иметь Россия». Злые языки распускали о нём немало анекдотов, и довольно язвительных. Будто бы Муравьев, ревностный попечитель просвещения, посетив однажды Университетскую библиотеку, окинул взором императора шкафы с книгами и распорядился:

— Это что за беспорядок? Поставьте книги в порядок: малые к малым, большие к большим. Да и на кой чёрт даёте вы студентам книги из среднего шкафа? Пусть начинают брать с краёв, небось ведь не перечитают всего.

Подобным образом Валериан Николаевич повёл себя и в Костроме, отчего местное дворянство было «возбуждено против губернатора его нелепо-солдатскими ухватками», и Муравьёв, пробыв в губернаторской должности год с небольшим, оставил Кострому, благоустроив спуск с теперешней улицы Дзержинского на улицу Кооперации, который и поныне называется Муравьёвкой.

Осталось в памяти старожилов и имя губернатора Алексея Порфирьевича Веретенникова, служившего в 1906-1909 годах. Был он человек неглупый, окончил военно-инженерную академию, но из-за нетактичностей, мелких придирок к некоторым общественным деятелям у части костромского общества популярностью не пользовался. Алексей Порфирьевич часто досаждал городской Думе, не утверждая или опротестовывая её постановления. Городской голова и член Государственной Думы Геннадий Николаевич Ботников, имея свободный доступ к Столыпину, не раз заводил разговор о непригодности Веретенникова к губернаторской должности, но для Петербурга не было достаточных оснований для снятия Алексея Порфирьевича, и он продолжал оставаться в Костроме, пока в 1909 году не издал постановление, обязывающее домовладельцев повесить у своих ворот фонари с обозначением улицы и номера дома. Дело это было никому не нужное, ибо город в те времена был тихим, сонным, и всяк знал, где кто живёт и без фонарей. Многие советовали Веретенникову отменить распоряжение, вызывающее дополнительные расходы без какой-либо пользы, но Алексей Порфирьевич на уговоры не поддавался и требовал исполнения.

Член окружного суда Власов в установленный срок фонарь не повесил, на неоднократные предписания полиции отвечал отказом. Его оштрафовали на 50 рублей, но Власов их не внёс, после чего была описана часть имущества и назначены торги. Веретенников, почуввав недоброе, лично поехал к Власову и уговаривал того уплатить штраф, только не доводить дело до публичной продажи имущества, принадлежавшего члену окружного суда. Власов ни на какие компромиссы не пошел, была назначена продажа с аукциона описанной мебели, чтобы выручить 50 рублей на покрытие штрафа. Нарастал крупный скандал. Кто-то из присутствующих на аукционе сразу дал за пепельницу необходимую сумму, после чего тут же подарил её Власову. На этом торги прекратились.

Но Власов не успокоился и подал жалобу на действия губернатора. В сенате решили, что Веретенников не имел права издавать постановление о фонарях, которые обязательны для городов с числом жителей, превышающим фактическое их количество в Костроме. Постановление пришлось отменить.

Вскоре после истории с уличными фонарями Веретенников неожиданно получил от министра внутренних дел уведомление, в котором сообщалось, что просьба его удовлетворяется и он освобождается от должности костромского губернатора. Алексей Порфирьевич не знал, что и подумать, поскольку никакой просьбы об освобождении от должности не писал. Тут же отправился в Петербург, где ему показали подписанное им самим заявление с просьбой об отставке.

Потом по городу ходили слухи, что заявление об отставке было подготовлено одним из чиновников губернской канцелярии и очень ловко подсунуто Веретенникову вместе с другими бумагами. Некоторые даже утверждали, что это рискованное дело организовал городской голова Ботников, который к тому же тихо и незаметно сумел собрать с некоторых зажиточных костромичей деньги для уплаты чиновнику, сумевшему оформить заявление Веретенникова об отставке по всей форме.

Как бы там ни было, но Алексею Порфирьевичу пришлось оставить губернаторскую должность и пересечь в Петербург, где у него был свой доходный дом. Будучи военным генерал-майором, он по приезде обязан был явиться к военному министру, но отлучение от губернаторства так на него подействовало, что Веретенников своевременно этого не сделал и после не очень любезного объяснения с министром подал в отставку. После чего, как свидетельствуют знающие люди, Алексей Порфирьевич стал заниматься в городской петербургской управе делами, связанными с водопроводом.

Михаил Базанков

«КОГДА-НИБУДЬ ПОТОМ...»

Ясным и теплым днем около десяти лет назад два неторопливых пешехода оказались попутчиками на проспекте Мира. Давно, с шестидесятых годов, были знакомы как студент и преподаватель, но несколько лет не встречались. Иногда в осмыслении перестроечных событий слышался мне из давней студенческой аудитории голос читающего лекцию молодого ученого: «Никому не дано право переписывать историю. Только научно анализируя подлинные события, документы, факты,

судьбы, можно оценивать содержание исторических периодов, через всеобщую связь выверить значение политических и социально-экономических перемен». Не утверждаю, что этим порядком слов была высказана мысль, но именно такая позиция ученого была наставительно обозначена. Видимо, были у меня основания об этом не раз вспоминать в период общественных потрясений.

Увы, так случается: и в одном городе не всегда вовремя окликаешь необходимого человека, ограничиваешься тем, что помнишь, знаешь о последовательной надежности его и преданности главному делу, — это говорю в оправдание собственного промедления. Давно возникла необходимость встречи по литературному поводу, да все не осмеливался тревожить профессора. И вот удача! Значит, пришел срок. Конечно, заинтересованно разговорились. Оказалось, Владимир Леонидович Миловидов читал мои книги, обо мне знает больше, чем я о своем институтском преподавателе. О, эта ученическая, студенческая невнимательность, не всегда она компенсируется и взрослой благодарностью нашим учителям.

Признаюсь, к стыду своему, еще не прочитал даже документальный очерк профессора о бывшем губернском военном комиссаре Николае Алексеевиче Филатове. Книжка «По убеждению» была издана Верхне-Волжским издательством под редакцией нашего костромского прозаика Бориса Гусева — такие ориентиры могли бы вызвать любопытство, переключить внимание от других интересов. Имеются еще важные тематические совпадения, сближающие труд ученого и писателя: книга памяти, история и люди костромского края, полемика по проблемам провинциальной интеллигенции, широко известные научные труды, многолетний авторитет историка. Знания его необходимы не только студентам, аспирантам, педагогам, но и творческим людям. Перед ним нужно признавать свою невежественную поспешность и верхоглядство в оценке событий XX века, недостаток знаний по истории родного края. Он с пониманием прощает, но помнится его преподавательская деликатная требовательность.

— Привлекает еще одна интересная тема, — говорит Владимир Леонидович, снисходительно выслушав покаяние, опять демонстрирует талант неназойливого введения в науку, в сферу своих исследовательских интересов, удивляет умением подготовить собеседника к восприятию. — Патриотический энтузиазм, революционный пафос и творческий романтизм в сочетании. Разве порицаемые нынче понятия? Разве история и литература не имеют взаимных связей? — он клонит рассуждение в необходимом ему направлении.

— История для писателя, имеющего особый дар художественно исследовать мир, возвращаясь к фактам минувшего, может быть удивительным зеркалом, которое дает ему отраженное состояние народной души под влиянием тенденций общественного развития, — пытаюсь сказать что-то в этом роде. — Исторический писатель в пределах эпохи создает типические характеры, обобщенный образ времени, приподымает повествование над фактами.

— Романтические сочинения тоже согласуются с историей. Романтика и приключения. «Красные дьяволята» Бляхина, например...

— Был такой общественный деятель и сочинитель, — говорю. — Писатели что-то редко упоминают коллегу, иногда — только для отрицания романтического опыта по принципу: критикуй всех, чтобы самому в собственных ощущениях выглядеть значительнее.

— Сейчас такое время, многие норовят плюнуть в прошлое... — тихо сказал Владимир Леонидович и плавно перевел разговор на другую тему.

Через несколько лет получаю книгу с дарственной надписью — подтверждение догадкам: тогда уже Владимир Леонидович работал над повестью «Рожденный временем», посвященной судьбе, жизни и творчеству революционера, администратора, писателя, кинодраматурга, журналиста. Осмысливал материалы центральных и местных архивов, произведения, речи, дневники и письма, воспоминания о нем, газетные и журнальные публикации разных лет, стенограммы заседаний и съездов.

Понимая переменчивые обстоятельства смутного времени, автор обратился к читателям с пояснениями, начав вопросом: «Знакомо ли вам имя — Павел Андреевич Бляхин? В свое время оно было широко известно людям разных поколений. Одни знали его как революционера-подпольщика, другие — как общественно-политического деятеля, третьи — как писателя, сценариста и журналиста. Но особенно популярным стал этот деятель с появлением на экранах фильма «Красные дьяволята», поставленного по его повести. Многие годы фильм не сходил с экранов страны, вызывая восторженные отзывы зрителей. Но прошло столько лет, и каких лет! И кто-то скажет:

— Не такое сейчас время, чтобы вспоминать и писать о нем.

— А разве не жили такие люди? — ответят другие. — Разве не интересна и не поучительна их судьба? Разве не были они сынами своего времени?»

Вот эта позиция ученого, высказанная без скучной наукообразности, конечно, опять удивила и порадовала меня: она

проявилась в развитии новых тем, в любопытном анализе костромской общественной жизни после революции. «Время рождает своих героев. Как цементирующий раствор, оно скрепляет конструкции исторического здания... Народ без прошлого — это народ с непредсказуемым будущим. Нравится или нет наше прошлое, но это наша история и другой уже не будет. Не торопитесь осуждать время и людей, живших тогда. А постарайтесь узнать побольше о них, о чем они думали, мечтали, как любили и страдали, и понять, почему действовали так...»

Предусмотрительный Владимир Леонидович с ученой дотошностью учитывает время, обстоятельства, особенности читательского восприятия: «Читая книгу, кто-то подумает, что автор нарисовал образ идеального человека, наделил своего героя такими чертами, которых у него не было, а что-то скрыл. Но это не так. Восторженные отзывы разных людей о Бляхине не выдуманы. И никто не заставлял их так писать, говорить о нем».

Так заявлено с первых страниц и подтверждается увлекательным повествованием, в котором вдруг обнаруживаю художественные способности. Для меня важно признание Владимира Леонидовича «автор нарисовал образ». Радуюсь, потому что оно соответствует моему давнему предположению: хороший ученый — непременно творческий человек, способный не только научными доказательствами показывать значение личности, представлять типических участников исторических событий, но и создавать яркие художественные образы. К сожалению, мы стереотипно воспринимаем давно знакомого ученого, писателя или художника. Нам не удается чувствовать все возможности вечно занятого, увлеченно работающего в одном главном направлении талантливое человека. Но появляется у него новый замысел, постепенно складывается стечение обстоятельств — и выявляется вдруг, что предвосхищалось. Мое студенческое восприятие интеллигентного молодого ученого было вопросительным: а что интересует его кроме науки, кроме обозначенного в темах программных лекций? И вот пришли ответы — они в интересной книге, особые достоинства которой еще предстоит определить по научной, исторической и художественной принадлежности.

Удачная композиция по главам, убедительное описание переломных обстоятельств, постепенно прорисованы конкретные трудности становления новой власти — все интересно подано. Весной девятнадцатого года бушует гражданская война. В Костромскую голодающую губернию приезжает уполномоченный центральными органами партии большевиков А. В. Луначарский. Он вскрывает недостатки в работе местных ор-

ганов, порождаемые «непродуманными, противоречивыми, несогласованными директивами центра», обнаруживает вопиющие факты пренебрежительного отношения к жителям деревни: многочисленные реквизиции хлеба, фуража, лошадей, мобилизации крестьян, различные повинности, ускоренное насаждение социалистических форм хозяйствования. «Многие работники допускали грубые нарушения законности, творили произвол в отношении крестьян, злоупотребляли служебным положением». Луначарский резко осудил безобразия и помог местным органам изменить отношения с крестьянами. Павел Андреевич, возглавлявший Костромской губисполком с января 1918 года, принимал замечания и на свой счет. С уполномоченным он побывал в Галиче, Буге, Красном, Нерехте, Плесе, Самети...

С первой главы выразительно и конкретно задана ситуация. Вот, думаю, напрасно упрекают людей старой закалки за идеализацию прошлого. Представлены руководители в экстремальных условиях. Невольно возникает интерес, а кто он, этот первый «губернатор», откуда родом, кто по происхождению, почему и как попал в Кострому под другой фамилией — Григорий Матвеевич Сафонов, почему в период становления Советской власти часто менял должности, чем привлекательна личность революционера, политического и общественного деятеля, как складывалась его судьба, какие совершал ошибки, в чем особенность его литературных произведений? На многие исторические, краеведческие и даже литературоведческие вопросы нахожу ответы в этой книге.

Удивил, порадовал Владимир Леонидович! А мы-то привыкли видеть его научно сосредоточенным копателем архивов и не удосуживались пересчитать его труды, не оставалось у нас времени даже на это, потому и стыдно признаваться: «Извините, не читал с подобающим вниманием самые близкие по тематике книги и статьи. Но вот эту...» Он, широко эрудированный, скромный и предупредительный, опять прощает и, поняв мое намерение рассказать в большом очерке о нем и его книгах, просит:

— Не надо обо мне писать. В наше смутное время не хочется лишний раз привлекать внимание к себе и своим героям. Может быть, когда-нибудь потом, а сейчас не надо.

Знаю, откладывание на когда-нибудь может перерасти в охлаждение, в забывчивость, в утрату чувства долга. Потому вписываю блокнотные страницы в подборку для новой книги, чтобы обозначить Владимира Леонидовича в общем ряду своих современников, которых называю редкостными земляками. И даю краткую справку. Родился он 24 июня 1931 года в семье

сельских интеллигентов (село Введенское Чухломского района). Мать — учительница, отец — ветеринарный врач. С отличием окончил Ярославский государственный педагогический институт им. К.Д. Ушинского. Первую диссертацию защищал в МГУ им. М.В. Ломоносова. Там же и вторую — на соискание ученой степени доктора исторических наук. Звание профессора присвоено в феврале 1978 года. Тридцать шесть лет заведовал кафедрой истории КПСС, политической истории, истории России. В ответах на вопросы очередной анкеты написал: «Руководжу научными направлениями «Интеллигенция и общество» и «Костромской край в истории России». Автор и редактор более 200 научных и методических работ. Руководил (совместно с другими коллегами) авторским коллективом многотомной «Книги памяти», исторической энциклопедии «Кострома». Подготовил большую группу кандидатов наук: каждого провел через аспирантуру, каждому давал советы по диссертации, внимательно читая и редактируя.

Для перечисления всех трудов, званий, наград, принадлежностей к академиям, участия в научно-методических, кандидатских, докторских советах при Минпросе РСФСР, при госуниверситетах и трех страниц не хватит. Хотя это важно, тоже говорит о человеке. Но и по одной убедительной книге «Рожденный временем» можно узнать достоинства личности, особенность таланта, представить и оценить незабвенный вклад Владимира Леонидовича в науку, в судьбы молодых ученых. Когда-нибудь потом, много позднее, изучающие историю родного края и Отечества вчитаются в его научные исследования, документальные произведения и почувствуют историческую правду, подлинное дыхание того времени, когда «старый мир давал трещины, и все вокруг сдвинулось с места, с шумом и грохотом, как весеннее половодье, понеслось по неведомому пути»...

Объемный исследовательский труд доктора исторических наук, профессора В. Л. Миловидова высоко оценивают ведущие ученые страны. На кафедре истории России под его руководством сложилось научное направление «Интеллигенция и общество», оно получило признание научной общественности и в Министерстве образования РФ. Новое направление для творческих людей интересно разработкой проблемы «Власть и интеллигенция». В русле этого направления вписывается книга «Рожденный временем» — ученый, работая над повестью, перспективно провидел актуальность и социально-политическую значимость таких исследований в настоящее время.



ПРОЗА

Ольга Гуссаковская
Олег Каликин
Александр Хлябинов
Зинаида Чалунина
Алексей Акишин
Алевтина Алферова
Борис Бочкарев
Валерий Секованов
Вячеслав Арсентьев
Павел Румянцев

СКАМЬЯ

Главы из повести

Дворцовый потолок комнаты тонул в сумраке, тесные стены треугольником стекались к стрельчатому окну с несокрушимым подоконником. Былая каморка для прислуги. Последнее пристанище после убывающих квартирных разменов.

Солнце заглядывало в каморку лишь по утрам и ненадолго. Его приход безошибочно угадывала снамская кошка с нездешними голубыми глазами. Она всегда загодя устраивалась именно на той плитке мытого паркета, куда падал первый солнечный луч.

Кошка была одним из бурных и быстротечных увлечений дочери Алины.

Дора вначале кошки побаивалась: уж больно чудная и дикая, но потом привыкла, и они зажили ладно. Алина после заводи́ла и овчарку, но ее к матери не привезла. Знала, что некуда. На треугольном, как вся комната, но широком, надежном, подоконнике приютилась швейная машинка-кормилица. Руки плохи, мало что уже могут, но лифчики на продажу еще строчат. Детям на подкормку.

А ей много ли надо?

Комната подтверждала: немного. Шкаф «за все», довоенная кровать «с шишками», стол, два стула и этажерка с многолетним набором безделушек — память о длинной жизни.

Коробочку, оклеенную ракушками, и вазочку из цветных посудных черепков она еще с девичества сохранила.

Могутнюю фарфоровую «Колхозницу» Иван подарил после рождения Димушки в тридцать седьмом. На бело-розовых этих бабиш тогда среди начальства вспыхнула мода. А пузатого божка с безмятежной улыбкой на сонном лице недавно принесла и велела поставить на видное место Алина. Что ж? Стоит и он.

...Сегодня не до работы. Даже кошка это понимает и нарочно лезет под ноги, чтобы не забыла в хлопотах покормить. Кошки все одинаковы — помнят только о себе. Налила ей молока, покрошила белой булки — обойдется. И — в поход.

Путь неблизкий. Через весь город к пригородному вокзалу. А потом на трамвае в глушь старых, тонущих в асфальте и тополином пухе улиц, в сужающийся мир тяжелых краснокирпичных стен и хитрых дверей, которые открываются не каждому.

В больницу для преступников...

Второй уж год, а все нет привычки, нет внутреннего согласия, что Димушка там находится заслуженно.

Всякий раз при виде трех, как корыто, протоптанных каменных ступенек, ведущих к серой тюремной двери, сердце обрывается и падает...

И всегда кто-нибудь да опередит возле окошечка, где записывают на свидание. Сегодня там уже стоит, наклонив царственную седую голову, старуха, которая ездила когда-то сюда к сыну, потом через годы — к внуку, теперь навещает правнука. Клятая судьба деревенской красавицы-беднячки, выданной родителями в богатую «гнилую» семью... На эту и не обидишься, что опередила.

А вон и Филатьевна в уголке жмется... Ночует она здесь, что ли? У этой муж прописан тут, может, и навечно. Изверг — а не бросает, хоть на самой живого места не осталось.

А Дима... Кому расскажешь? Порешил спяна пасынка Володьку. Возненавидел его изначально, как с Лидой сошелся. Может, потому, что Володька зародился здоровее, веселее, способнее родного Олежки? Все водка виновата...

Но врачи сказали: давно болен. И не в одной водке дело.

Это и она подозревала, да объяснить ни себе, ни им ничего не могла. Дима родился в тридцать седьмом. В год взлета Ивановой карьеры, в год крушения ее любви... Виноват ли он в том?

...Три стальных двери бесшумно открылись и, выждав, словно бы с затаенным коварством, снова скользнули на место. Уже за спиной посетителей.

Вот и комната свиданий. Длинная, унылая, чистая, но почему-то все равно неряшливая. Перегороженная пополам залосненным деревянным столом.

Стол широкий — рукой до человека напротив не дотянуться. Да и не разрешали. Смотрят.

По одну сторону они — вольные, разные, по другую — неразличимые серые тени, когда-то бывшие не похожими друг на друга людьми. Застиранный серый байка курток, бритые головы и лица без глаз. Сидят напротив друг друга, за одним столом, а далеки — бесконечно.

Может быть, потому, что в комнате не сыскать и уголка без стерегущих глаз?

Как ни настраивала себя заранее, а все равно вырвалось неостановимое:

— Господи! Похудел-то ты как!

— Ничего, лишь бы арматура осталась! — ответил Дима, и лицо его, как молния, перекрестила знакомая злая усмешка

с блестящим оскалом белых зубов. Та самая, из-за которой его боялись с детства все.

Даже почти взрослые парни и то предпочитали не связываться с Дымарем (как звали его во дворе).

Сейчас сидел напротив сын — и не сын. Усмешка — его. А глаза? Отцовские, светлые, как вода на рассвете, иногда притягательно красивые, сейчас они безразлично скользили по потолку. На мать он не смотрел. Мелькнул только взором, ответив на ее возглас — и ушел.

— Ну, как ты тут? — спросила она, понимая, что спрашивает не то и не так.

— Как штык! — вдруг резво брякнул он и вроде даже вытянулся по-солдатски. А потом неожиданно склонился над столом, насколько мог, к ней ближе. Глаза белые, как у вареной рыбы, один черный зрачок кипит, как вар.

— Лидке скажи, чтобы пришла! Слышишь, чтобы пришла, стерва! Хуже будет!

Дора вздрогнула. Врач предупреждала: спорить с Димой нельзя и объяснять ему ничего не надо. Лучше всего соглашаться. Но как ей было это понять и принять?

Помимо воли вырвалось:

— Так ведь нет ее в городе! Уехала! Хоть бы адрес оставила, об Олежке бы сообщила чего... Господи!

— Врешь! Врешь, старая! Прячете! Прячете ее от меня! Не выйдет! — Он начал подниматься из-за стола, вырастая как туча.

Но привычные санитары мигом этот рост пресекли. И тут же бесшумно и ловко вытащили Диму из комнаты.

Другие посетители и не покосились в их сторону. Одна мать замерла с поднятой ко рту рукой.

Ее тронула за плечо докторша, молодая, но усталая уже с утра.

— Идемте, я вам таблетку дам. Примите, вам надо. Ведь говорила же я вам! А... да что там? Все понятно в общем-то. Я вас не виню.

...Голову после таблетки словно подушкой накрыли. Все слышно, но плохо, как издали. И глаза видят, но не запоминают, а словно бы обратились внутрь, в прошлое.

Скамья возле больницы под тополем — насиженная, все понимающая. Думается на ней хорошо. А что еще-то делать? Ноги не несут пока.

* * *

Перед самой революцией в заштатном волжском городке бегал за кипятком для купца-рыбника приметный мальчонка с очень светлыми, словно бы настежь распахнутыми глазами.

Ладных и ухватистых ребят в тех местах всегда хватало: десятками лет выходили оттуда московские «половые», банщики и парикмахеры.

Но в этом парнишке жила особинка. Старый опытный купец ее отметил:

— Далеко пойдет малый. Видит хозяина. Умеет угодить. И своего не упустит.

Но — не пришлось угождать никому. Грянула революция.

В первых рядах юного ее пополнения оказался крестьянский сын, Иван Сивкин, и, как многих, понесла его норовистая революционная волна. Только не каждому из тех, кого она несла, дано было с волны той не сорваться: не разочароваться в годы нэпа, не испугаться перемен.

Иван все понял и все принял. Работал прилежно, с толком, куда посылали. Но, хоть в те времена и не очень на то смотрели, недоставало парню грамотешки, чтобы взлететь повыше районной ЧеКа. Крылья были, да перьями не обросли... Вот потому далеко и не летал: остался в том же городишке, где родился и вырос.

А тут еще женился, как в воду бросился, — без расчета и оглядки.

Увидел однажды возле деревенской калитки летним тихим вечером, когда уже возле самой земли только золотится пыль, поднятая прошедшим стадом, бровастую и белотелую деваху, которая с какой-то особенной, насмешливо-ленивой оттяжкой щелкала подсолнухи.

Она и не улыбалась вовсе, глаза прикрыла ресницами, расписные брови сдвинула. А все равно тело ее смеялось, радовалось и звало. Его, Ивана. Одного его. Он как-то понял это мгновенно и навсегда.

Имя у нее было смешное — Митродора. Стал звать Дорой. Не возражала. Скоро привыкла. И люди звали вначале так, а позже Дорой Никитишной. Митродора осталась возле деревенской калитки.

...Так видел их встречу, рассказывая о ней, Иван.

Она помнила немного иное. Жила в людях, но на судьбу не жаловалась: хозяева попались незлые, через силу работой не неволили. А времена настали трудные и непонятные. От той заверги чуть не половина мужиков подалась в «зеленые», по лесам отсиживались. То же и хозяйский старшой — дезертир.

Долгонько до этого в деревню к ним никто чужой не навывался, а тут день субботний, банный. «Зеленых» банька-то и повыванила из лесу. Завишвели, горе горькое... Пожаловал и к ним гость. Ну, хозяин и велел ей постоять у ворот, посмотреть, опаски ради: мало ли?

И как в воду глядел — они, чекисты! Откуда только и вынесло их? Пыль столбом!

Кабы не ударил ей в сердце светлый пронзительный взор передового всадника, всполохнулась бы, поди, наделала беды. А тут встала столбом, только рука, не спросясь, семечки подносит ко рту, а уж самой-то и нету: вся в нем... И пошел между ними короткий («да» — «нет») , а на деле такой длинный разговор, что все «зеленые» успели убратся восвояси. Хоть и пытались беглецов искать, да только это уже — ветра в поле... И ведь поди ж ты: простил ей Иван! Что-то толковал про темноту, про классовую несознательность... Да пусть! Лишь бы любил!

Господи, и ведь светило им, не приснилось только счастье! Как в любимой с юности песне про «Настю-пастушку» сменила Митродора «деревенскую жизнь на привольную жизнь городскую».

Правда, город выглядел взъерошенным и растрепанным, как деревенский пьяница, побывавший под колесами телеги. По церковным главам словно ветер, что во ржи заплетки вьет, прошелся: ни одного целого креста не осталось. Дом знаменитого купца-рыбника слепо паялся на улицу опаленными глазницами окон. Но рядом — бойкие лавчонки, живопырки-закусочные, неоглядная толкучка, где что пожелаешь, то и сыщешь. Были бы деньги.

Денег оказалось не густо. А вот поселились они в просторном поповском доме, с умом и надолго строенном. Сам поп за антисоветскую агитацию отбыл на Соловки, но долго помнился Ивану, злил его. Хитрющий оказался попище: сколько ни искали у него денег — не нашли! «А может, и не скопил он богатства? Вон семья-то — восемь душ...» — заикнулась как-то Дора, да лучше бы и рта не раскрывала — так на нее Иван обрушился. Закалялась с тех пор говорить про его дела.

Жили просто тогда, часто с песней, особенно когда животы поджимало. Хоть пустой чай, да все горячий. И разговоры, мечтания вечерние про завтрашний день. Вокруг них все верили: завтра будет лучше, чем сегодня.

Народ собирался у них привычный. Поменяли только одежду да изредка — имена и фамилии. А так — свои, деревенские. Бывший батрак Мишка Гноев стал Михаилом Советовым, а нищая нянька Христа — Револютой. Да не все ли равно, кого как звать? Хотели-то все одного — мировой революции и всеобщего счастья.

По ней же, Доре, и добытое, сегодняшнее, было куда как хорошо. Только Иван твердил:

— Погоди, мы еще и не начинали жить-то...

Всегда знала: красивые дети от обоюдной любви рождаются. А заронила ли у кого дочка краше? Зачем только Иван настоял на нелюдском имени Сталина?

Сказал: нужно ему по работе... А в Святцах ничего и похожего-то нет, да времена другие — не до святой купели. Осталась доченька некрещеной.

Может, оттого, что не оказалось у нее на небесах предстателя-заступника, судьба горькая? Но поначалу-то что сулило горе-злочастие?

Росла доченька резва и здорова. Личико тонкого иконного письма в северную отцовскую кровь, а в глазах — цыганский пожар. От ее, материнных, видно, далеких южных предков.

Но радости материнской, душевного с родным дитятей согласия отпущено было Доре немного.

* * *

В тридцать пятом Сталине исполнилось три, и в том же году пугающая спираль судьбы перенесла Ивана Сивкина из захластья чуть не на самый верх. Ступенечки, может, одной только и не хватило. Понять что-либо в этом взлете Доре было не по уму, а он — нарочно, нет ли — объяснять ничего не хотел.

Приехали в город, о каких Дора и не слыхивала. Множество улиц — век не запомнить всех.

Вальяжные дворцы смотрят на прохожих свысока, зеркальные витрины магазинов полнехоньки добра на выбор. Нарядные вежливые люди. Трамваи, машины из-за каждого угла. Успевай только поворачиваться... То конфета, то пряник под ногами — и никто не наклонится поднять. Господский город, одним словом, если по-старому.

И вот поди ж ты: отвоевал в нем себе место Иван! И малая грамотешка не помешала...

Но то — ему. А ей пришлось каково? Поселил жену с дочуркой, неумеху деревенскую, в большой, настороженно пустой квартире, да на том и делу конец.

Соседок Дора сторонилась, хотя одна из них — горластая, напористая, в добела протертой на локтях кожанке — втайне ей нравилась. Другой — высокой, дрожаще-нервной женщины в очках и в перстнях — она стеснялась. Но именно вторая соседка придумала имя для дочурки — Алина, с которым та и осталась.

Сталиной ее и отец не называл никогда. Случалось поиграть с ребенком — кликал Люлюшкой...

Пожалуй, только с дочкой Иван и оставался прежним — не щедро, но сладостно ласковым, добрым. А между ними не-

заметно вклинилось и зажило едкое, разлучное словцо «деревенщина»...

Разве виновата Дора была, что в большом городе приживалась трудно? Ивану-то на работе среди здешних, думалось, куда как легче приспособиться к новой жизни.

Она же узнавала город через базар, где поначалу ее бессовестно объегоривали желтоволосые, молочнолицые чухонки, через магазины, где ее подолгу не замечали и не слышали расфуфыренные, надменные продавщицы. Каждое одоление давалось с немалым трудом, а кому, как не мужу, рассказать про «эту, которая сама-то, а тоже...» Но он ее не слушал.

Не узнать стало Ивана. Появилась у него откуда-то бегущая волчья усмешка, от которой больнее, чем от обидного слова, холодело сердце. Глаза чаще и чаще застил стеклянный хмельной блеск.

А тут начали исчезать соседи.

Почему это происходило, откуда вдруг со всех сторон затеснили новую жизнь неисчислимые вражеские рати, Дора своим умом понять не могла. От Ивана же ничего, кроме «политического момента», не слышала. Так или иначе, не стало и соседки в протертой добела кожанке, и той, что в перстнях, и еще... Только их семью, словно неподъемный камень, обегала ночная черная взбесившаяся река, уносившая людей в неведомую жуть. И оттого, что беда обходила стороной, делалось только страшнее. Потому что думалось: значит, эта неделя еще не про тебя, не по твоему плечу, та, что тебя ждет, — позлее будет.

Попробовала все же настойчивее заговорить с Иваном о странной этой шаткой жизни — послал подале черта. А через день принес с работы премию — патефон. Пластинки к нему купил сам. Наверное, какие нашлись. Потому на одной выкликал задорно деревенский свойский хор: «Загудели, заиграли провода...», а на другой вкрадчивый сладкий голос уверял: «Один лишь только раз мы счастливы в любви...»

И поди ж ты, к этой, второй, как на веревке тянуло Люлюшку!

Обмывать премию пришли сослуживцы Ивана. Впервые увидела, с кем ему теперь работать довелось. Сердце как обмерло, так и не могло успокоиться: не те люди, не прежние! Двое ражих молодых парней с глухими лицами мясников. Очень похожие супруги с длинными дышащими носами, почему-то разными фамилиями, но одинаковой крысьей повадкой: неловерчивой и взаимно заботливой. Они и друг к другу обраща-

лись без имени — по фамилии: «Федотов, подай мне селедку...» — «А может, тебе, Сомова, и водочки к ней? Ху-ху-ху...» Непонятно — и жутко почему-то. Прокуренную, длинную и тощую бабу изрядных лет она про себя окрестила «Педрил-обжора». На ярмарке в детстве видела представление про вороватого и ненасытного слугу Педрила...

Еще пришел один черный, как березовый уголь, и молчаливый кавказец. А с ним... не с ним?.. молодая, увертливая, блескучая и острая, как игла, бабенка. Блестели, словно ртутью налитые, пустые серые глаза, отвечали им серебряные искорки на модном джемпере, колечко на пальчике-коготке.

За блеском этим вертячим Дора не рассмотрела, кто там еще пришел. А прибыло с опозданием еще каких-то трое... Да — не до них.

Бабенка окающая (надо же уметь!) словно бы со своего кавказца глаз не сводит, а Ивана тянет. Как ни повернется, все себя лучшим боком показывает. Танцевать пошла тоже не просто — с вывертом. Затосковало Дорино сердце, хоть беги из дому, да куда побежишь? Крутись, хозяйка: подай — унеси, да снова подай. А та — невидимой паучьей нитью опутывает, уводит любимого...

Вроде бы и ничего не произошло сразу после той вечеринки, да Иван, из дому не уходя, стал уходить. Не только от нее. И от дочери тоже. Куда уж дальше — про Алинин день рождения забыл...

С месяц так шло. Да надоумила крысоносая Сомова:

— Дура! Сходи к начальству! Все управление уже про Женьку говорит, а ты преешь, как квашня, да ждешь, пока бросит.

И телефон дала — кому позвонить.

Вот когда загоревала Дора, что не нашла здесь закадычной подружки. Ходи по улицам, по магазинам, думай думу. Кому до нее дело?

Барский город безразлично и чванно смотрел на нее чужими, не смирившимися, глазами окон. Прохожие если и взглядывали с интересом, так это только мужики на красоту. Помощи не жди.

Да и властен ли кто помочь в потайном семейном деле?

И все-таки позвонила по тому телефону.

... В смертный час не забыть желтого гробового лица человека за огромным письменным столом, его провальню-черных напеленных глаз и жалкого, трясущегося посреди кабинета Ивана!

Сразу поняла: тот, страшный, нарочно его тут поставил. Чтоб не на что было даже взглядом опереться.

— Не по чину занесся, Сивкин, — сказал человек за столом тихим, словно у тяжелого больного, голосом.

И к ней:

— Правильно сигнализировали, спасибо! Советская семья — опора общества, и мы никому не позволим ее разрушать. Понятно?

Иван молчал, но человек и не ждал ответа. Чуть повел костяной рукой в сторону двери.

— Идите. Разговор окончен.

Всю дорогу домой ждала: обрушится на нее Иван, как тогда за уход «зеленых», за поповы деньги...

Но он, как пришли, молча прошел в большую комнату, распахнул окно в весеннюю стынь. Курил, глубоко втягивая щеки, смотрел неотрывно на едкий желтый закат. О чем думал — не ведомо.

Дора лиской проскользнула на кухню, мигом почистила селедочку, обложила крутыми кольцами лука, как он любил. Туда же, на тарелку, два ломтя черного хлеба. Добыла спрятанную на случай Ивановой опохмелки чекушку. Нацедила стопку. Покорливо, тихо вплыла в комнату:

— Прости ты меня, Христа ради, Ваня, не сама ведь я. По чужому навету пошла... Не знала... Выпей хоть. Что ж бирюком-то молчать?

Он медленно закрыл окно, повернулся, глянул долго, тяжело.

— Дура ты! Деревенщина беспросветная!

И прошел, как мимо стула, на угощение и не глянув.

На том все и кончилось.

Месяц потом прожилась Дора одна в широкой супружеской постели. А когда неожиданно Иван пришел к ней ночью (спал в другой комнате), показался незнакомым мужиком. Безрадостно, безлюбо взял ее, как уличную какую-нибудь.

Дора поутру, одна, изревелась на кухне.

Но — судьба глянула, на добро ли, на зло: с той самой ночи понесла.

* * *

Когда сказала Ивану, что ждет ребенка, посмотрел вдруг на нее прежними живыми родниковыми глазами, и блестели они от слез. Проговорил же как-то очень буднично:

— Вот и хорошо. Пусть будет сын!

Родился для нее — Дима. Диамар по отцовскому хотению. Случилось это на второй день тридцать седьмого года,

который вошел в город под фанфарные вопли всяческих побед. Кого только и в чем мы ни обогнали тогда!

Однако люди продолжали исчезать... Сгинули и супруги с разными фамилиями. Как и не бывало их в доме: никто не помянул, не удивился, не пожалел тайком.

Иван подарил Доре по случаю рождения сына чернобурку с лапками и ту самую грудастую статуэтку «Колхозницу». Но сам не ожил душой. Чучело соломенное, не человек. И любовь не вернулась в их дом. Ушла согреть чье-то чужое гнездо, а в их большой, так и не обжитой до конца, квартире словно навсегда поселился сырой тусклый сумрак взаимного недоверия и скучливой ссоры.

А Дима поначалу рос слабеньким, плаксивым. Потом — выправился и смолк. Только недобро, все куksился. А чуть подрос — на любой запрет стал отвечать либо кулачком, либо пинком. Отшлепают — только хуже. За хлопотами с сыном упустила дочь. Алина целыми днями пропадала во дворе, без догляда. Росла живой и переменчивой, всегда хотела верховодить. Поссорится с кем-то, подерутся до рева, но сама же и потянется к обиженному: «Я тебя люблю...» Дора на ребячьи эти ссоры и перемирия внимания не обращала — дело обычное. Старалась только нарядить Алину повиднее — пусть люди смотрят. Сама дочка хороша, а принаряженная — вдвое. Да только где-то незадолго до финской войны заметила Дора, что некоторые дети начали Алины сторониться. Вроде как и не сами, а по родительскому наказу. К тому же именно те, с кем все хотели дружить. Например, брат и сестра Борг — профессорские двойняшки с английским языком. Задело это Дору сильно. Зря, что ли, одевала Алину «как куколку»? Того, что на ней, и у профессорских задавак не водилось. В чем же дело?

Загорелась душой — не удержать. По деревенской привычке остановила обидчицу на дворе. В упор спросила носатую печальную сврейку:

— Это чем же дочка моя вам не угодила, что ваши дети с ней водиться не хотят? Может, что болботать по-ихнему не умеет, по-русски, как люди, говорит?

Увидела: на дне черных мерцающих глаз женщины залег страх, но ответила она твердо:

— Я не хочу, чтобы мои дети дружили с дочерью человека, работающего там, где работает ваш муж. Идите донесите! Мне все равно... Ожидание еще хуже... Извините!

Повернулась круто и ушла.

Свое тогдашнее состояние Дора и теперь не взялась бы

объяснить словами. В ней все клокотало, и кипятик чувств нужно было на кого-то выплеснуть.

На лестнице увидела дочь с новой куклой-мигалкой. Алина шла на двор — хвастаться.

С маху закатила ей пощечину.

— Пошла домой! Нечего перед этими заразами выставляться! Дура! С тобой водиться не хотят, а ты лезешь!

Алина не заревела, чего бы следовало ожидать, а только побелела, затряслась, и глаза вспыхнули черно и жутко. Молча, впереди матери, проскользнула в их до блеска намытую, начищенную квартиру.

Дора едва дождалась вечера. По счастью, Иван пришел не слишком поздно, как последнее время водилось.

Налетела на него обиженной курицей:

— Тебя не сыщешь, а тут жидовня обнаглела, чуть не в лицо плюется! Дочка, видишь, наша им не ко двору! А сами-то...

— Да кто «жидовня» -то? — спросил Иван устало и безразлично.

— Как кто?! Известно: Борги! Баре недобитые!..

— А... эти... Ну, с ними разберутся без тебя. Не бери на сердце, считай, что ничего не случилось. Позови-ка дочь, а сама иди. Успокойся.

О чем толковал тогда Иван с Алиной больше часа, Дора так и не узнала.

Увидела одно: Алина реже стала бывать во дворе, а на людях появилась оставшаяся надолго приговорка: «Мой папа — чекист!»

Как в чем не ее верх, так и брякнет зло и настырно. Слово себя укрепить этим заклинанием хочет или пугает кого... И упорно не хотела делать по дому ничего, даже малого. Пыль вытереть с этажерки, с той самой «Колхозницы» — ни в какую! Сколько ни лупила — не помогало. Ни слез, ни покорности.

— Цыганская потеря! Чертово отродье! — взвивалась Дора. — Чтоб ты сдохла, холера упрямая!

Девочка молчала, вертела в руках куклу. Выбьют из рук — подберет и снова уйдет в молчание.

А Борги исчезли. Всей семьей сгинули. Да тихо так, полупночно — в доме ни шороха, ни шума.

Утром, как узнала, окатило жутью: а что если это по ее слову сделалось? Но разве они одни? Уж, наверное, числилось за ними недоброе, раз взяли... Вон ведь только и пишут, только и говорят про шпионов и вредителей. Не зря, поди, детей-то чужому языку учить вздумали.

Дора постепенно успокоилась.

* * *

Накануне объявления войны белофиннам Дора проснулась от непонятного пугающего звука: словно далеко за околицей крещенской свирепой ночью подвывает одинокий волк: «У-ю-ю-ю...»

Вскинулась спросонья: Господи! Уткнув голову в подушку, плачет Иван!

— Ты что? Заболел? Пьяный? — затормошила его. — Да скажи хоть слово! — Бисерным крупным потом окинуло от страха. Иван простонал, провыл в подушку:

— Дети... дети ведь они... — И смолк, затаился.

Тряхнула за плечо посильнее — зло отбросил руку.

Ну, это знакомо. Видно, пьяный пришел, а она не заметила.

Спьяна Иван частенько плакал, жалился. Только не ей — белому свету. А утром, глядишь, опохмелился — и как не бывало тоски.

Дора со зла легла на самый край постели, не касаясь его ни одним волосом. Немного погодя успокоилась — заснула.

А на другой день Иван вернулся с работы небывало рано: только пали куские северные сумерки.

Дора на кухне месила опару — руки по локоть в тесте. Сразу почуяла неладное, да от теста окаянного как отвяжешься?

Пока сдирала с рук непослушные ошметки. Иван сам пришел на кухню.

Оседлал табуретку. Лицо серое, зимнее, руки дрожат, как с похмелья. Но — трезвый.

Покивал головой чему-то своему, наболевшему, стрелкой поджал губы. Все — молчком.

Дора не выдержала, как всегда.

— Чего пугаешь-то, бирюк проклятый! Пришел с бедой, так не молчи! Али опять уходить наладился?

— Правда, Митродора, ухажу, — ответил он не своим, севшим голосом, впервые за годы назвав ее еще и полным именем.

Имя-то забытое и проняло мигом до печенок, но он поднял руку.

— Погоди! Не вой! Ухажу я на фронт, добровольцем. Так надо.

— А дети-то, дети-то, Ваня?! Их-то на кого? — ахнула она.

— Дети с тобой останутся. Авось людьми вырастут, — ответил он странно. Добавил через молчание: — Ничего ведь ты не знаешь обо мне. Ничегошеньки! И не надобно ведать окаянства моего ни тебе, ни детям. Коли вернусь живым, может, еще и наладится жизнь, а нет — не поминай лихом!

Дора замерла, подперев локоть по-бабы, зажав рот рукой от жути. И голос-то у Ивана оказался незнакомый, как бы и не человеческий — замирающий шепот, хрип...

— А когда уходишь-то? — спросила она, поймав на лету первые попавшиеся слова из сотен, ломивших голову.

— Сейчас, — просто ответил Иван.

— Господи, а дети-то?! Проститься?!

— Не надо. Не хочу их видеть. Не могу. Тебе оставляю. Ты им защита, на тебе вины нет.

Даже не обнял крепко на прощанье. Руки на плечи положил и горько коснулся щеки щекой.

Колочее это прикосновение и запах крутого «Беломора» остались в памяти навсегда...

Даже вещички оказались у Ивана собраны заранее и припрятаны. Значит, не с дурной головы сорвался...

Только он за порог — влетела Алина. Гостевала у какой-то подружки.

— Папа был? Где папа? — уставилась на мать сверлящими всезнающими глазами.

Дора и рта не раскрыла, а девочка закричала пронзительно, тонко: «А-а-а!» — и упала на пол. С ней случился припадок. Еле откачала «скорая»...

Дима же на четвереньках слезил по комнате с любимым красным паровозиком в руках. Ничего не понимал еще. Только Алининого крика испугался — заревел.

...Иван с войны не вернулся. Погиб при штурме линии Маннергейма. Так вышло, что и фотографии последних лет жизни от него не осталось. Сохранилась только свадебная карточка, где оба они пригожи, молоды, счастливы.

Кто бы подсказал только в молодые-то годы, что счастье это надо было не ковшем пить, а по ложечке цедить! Авось и хватило бы надолго...

* * *

Видно, не зря черная беда обегала их семью до поры стороной. Приберегла Доре молодое вдовство с детьми.

В беспросветные дни, когда и солнца словно никогда не бывало — до того почернело сердце от горя, нашлась не то что подруга — добрая советчица.

Такая же детная вдова, пожилая лифтерша из соседнего дома.

Пенсию Доре дали хорошую. Анне Семеновне, как она говорила, «на стакан семечек», а детей-то у нее осталось без отца четверо... Да и прежде маялась с мужем-пьяницей, умела вер-

теться. Вот она и посоветовала Доре, чем работу на заводе искать, пойти в домработницы.

В своем же доме, к молодой опереточной певице. Много ли хлопот? Только когда «полуношный начальник» явится, надо собрать стол. Опять же Дора удобна: муж служил под началом памятного человека с гробовым лицом. Ей — доверие. А в остальное время — убрать, постирать да пыль смахнуть. Все дела.

Дора хоть и не могла без дрожи вспоминать того смертяшку, но рассудила просто: коли полюбовница его не боится, ей-то что? И — согласилась.

Ее хозяйка по виду выглядела совсем девчужкой: пышные волосы в две косички, белый воротничок на тонкой шейке. Но в зеленых, как весенний лужок, распахнутых глазищах ни стыда, ни совести. И губы нарисованы вдвое против своих. На афише: Клео Залесская, в жизни — Клавдия Степановна Залесова.

Щебетуха, но слова лишнего не проронит. На людях небрежно, где попало швыряет деньги, а Дору с первого дня приучила отчитываться до копеечки.

Но — охотно отдавала пыльные пышные наряды, уже не годившиеся в переделку. И разрешала Алине сколько угодно бывать в театре. А иногда и подружек с собой водить.

Дора боялась, что дочка в штыки встретит ее решение стать домработницей, а вышло наоборот — довольнехонька!

Юбочки, кофтенки эти жалобно-трескучие, шифон, вишем облитый, — Алине дороже обновы. Руки ловкие: там булавкой закрепит, здесь иглой прихватит — и вот уже напекает перед трюмо:

— Сильва, о Сильва, так зовут меня в селении родном...

И задом вертит на манер Клео. Да только выходило у нее иначе: Алинина подлинная красота и тряпки освещала, и любое движение тела делала прекрасным и чистым.

Выразить это словами Дора не могла. Смотрела, пугалась чего-то... и налетала на дочь с руганью и колотушками. Совершенно напрасно: дочь ее не только не слушалась, просто не слышала. И никакой трепки не боялась.

А Дима упорно не хотел заговаривать. Три года, глазенки смышленные, явно понимает, но сам называет все по-своему и вовсе на нужное слово не похоже. Ну, с какой такой стати хлеб у него «пу», а молоко «ти»?

Попробуй не дать чего — скалится, как злой щенок. И все что-нибудь сестрино пытается утянуть. А та — ему по рукам. А он — в долгий обиженный рев.

С одной такой ссоры вдруг заговорил. Разом. Словно копил, копил слова, да и высыпал, как из мешка.

Случилось это, когда поехали на залив — прибрать дачу к приезду хозяйки.

С дачей той — неказистой, хиленькой — хлопот предстояло много. Стояла она далеко от дороги, в сыром зауейном ельнике, но зато близ взморья, где отдыхали знаменитости.

Дора забрала в субботу детей и поехала наводить порядок к воскресному прибытию хозяйки.

На вечерней немеркнувшей заре все пришли на берег залива. Чуть шелестела ленивая зеленоватая волна, на все голоса заливались птицы в прибрежном ивняке.

Долго до этого держались холода, впервые земля отутювила, дохнула теплом: ландышным и травяным. Дора присела на замытое прибоем бревно и почти успокоилась. Бывало это очень редко.

Бегали по тугому песку дети.

Алина незаметно ухватила и спрятала за корягой любимую Димкину лошадку. Ей было скучно. Она любила город.

Димка сначала ударился в рев, вцепившись в сестрин подол. А потом вдруг крикнул:

— Отдай! Отдай! Мой вошады! Мой! — Схватил с земли железку, замахнулся. — Режиком заножу! Дура!

Так вот, не иначе, а с угрозы заговорил сынуля... Дора все равно настолько обрадовалась, что и оплеухи Алине не отвесила.

Ночевали на даче, в тесноте, да не в обиде, а утром, вернувшись в город, узнали, что началась война.

* * *

Когда вышли из электрички, показалось: город еще не понял беды. Только прислушивается к ней.

Почти все по-прежнему. Вот только очереди возле магазинов, где их еще вчера не бывало. И бесцельная торопливость прохожих, особенно женщин. Бежит куда-то, неся полные слез глаза, словно от беды спастись хочет... Еще не ведает: спасения нет!

Дора только головой покивала одной такой вслед: сама-то давно отбегалась.

А дома застала свою хозяйку за быстрыми сорочьими сборами.

Клео, как всегда, внешне без разбора швыряла в чемодан платья, но на самом деле — с точным выбором. Прожженное папиросной панбархатное только в руках подержала, но не взяла.

Защебетала приторно:

— Какое несчастье! Какое несчастье, вы только подумайте, Дорушка! А у меня, как нарочно, — гастрол! Придется уезжать! Но, надеюсь, ненадолго. Все мы должны объединиться перед лицом врага и в такое время не покидать город. Ах, но что я могу поделать? Ведь не я решаю... Дорушка, вы уж тут присмотрите за квартирой, ладно?

Похоже, и не поняла, что последняя фраза выдала ее тайные намерения: возвращаться скоро Клео не собирается.

Дора ее и не осуждала: каждый за себя.

Самой же ей дня через три приснился яркий тягостный сон.

Черная, размытая осенними дождями, сельская дорога. С двух сторон, чуть отступя, тоже черный ельник. Кое-где только мелькают остатные багряные листья осин. Идти по такой дороге невозможно — утонешь в грязи. А она и не идет — летит, земли не касаясь. Стремительно. Не разглядеть деревьев по сторонам. И знает: там, за лесом, за низкой дождевой тучей — ее родное село. Туда ей и путь. Долететь бы только, пока между тучей и землей еще тлеет жгучая расплавленная полоска заката.

Проснувшись, Дора уже знала, что ей надо уезжать. Не в село, его она и не помнила, а в тот тихий купеческий городок, где прошла ее молодость, где осталось ее с Иваном счастье.

Трудно пришлось с Алиной. Уперла в пол угольные глаза.

— Мне ехать некуда. Я там никого не знаю! Вернется Клавдия Семеновна, буду вместо тебя ей помогать!

Ну, кое-как уломала все же доченьку.

Неделю добирались до места, а там умных таких-то полнехонек вокзал. Многие обжиться успели по вокзальным углам: пеленки сушат на хлипкой веревочке, еду разложили на газете...

Олег Каликин

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ

Глава из повести «Подруги»

В субботу, в половине пятого, Аля позвонила в новую квартиру Забродиных. За дверью послышалось птичье пение, будто кто неумело передразнивал соловья, и Аля не сразу догадалась, что она вызвала его, нажав белую кнопку.

Открыла Лариса.

— Молодец! Ох, какая ты молодец у меня! — обрадованно воскликнула и обняла, расцеловав Алю. — Проходи. Раздавайся скорей. Будешь мне помогать. У меня еще ни с чем пирожок...

Когда гостя сняла и повесила в прихожей плащ, оглядела ее, задержавшуюся у зеркала, с ног до головы и вторично похвалила:

— Ну, и правильно сделала, что надела. В нем ты какая-то загадочная... Ночная вроде... Мужа не взяла? Няньчиться заставила?

— Он еще из рейса не вернулся. Самые длинные берет, выгодные. Ксанку я с его теткой оставила, у которой живем. Алешка се дровами обеспечивает. Вот она и сидит иногда с нашим ребенком, — объяснила Аля.

— Вот видишь, как все удачно у тебя сложилось. Как по заказу! Нарочно не придумаешь, — довольно улыбнулась Лариса и протянула Але фартук. — Надевай и проходи ко мне на кухню. Квартиру после посмотришь, спешить надо. Вот-вот гости повалят...

— Да, пора уж, — раздался мужской голос в конце коридора.

Аля обернулась и увидела выглянувшего из комнаты высокого чернявого мужчину в белой майке. Поспешно поздоровалась.

— Привет! — кивнул мужчина и улыбнулся Але с радостным удивлением в глазах. — Ого, какие свеженькие пожаловали!

Аля потерялась. Не знала, что сказать.

— Не обращай внимания, пожалуйста, он перед каждой новой юбкой так, — пришла на помощь Лариса и за руку увлекла Алю на кухню. Поручила резать колбасу.

Через полчаса они накрыли стол, и в прихожей, почти не переставая, забулькал соловей. Повалили гости — солидные, разодетые люди. Вручали хозяйке свертки с подарками. Але сделалось стыдно: она пришла с пустыми руками.

Лариса заметила ее смущение:

— Брось, не переживай. Мы им тоже в свое время дарили. А ты здесь новенькая... И давай не больно-то робей перед ними. Покажи, что знаешь себе цену. Может, плеснуть коньячку? Тяпнешь для храбрости?

Лариса открыла холодильник, где стояла начатая бутылка.

— Что, что ты! Ни капли не буду! — напуганно затрясла головой Аля.

— Ну и ладно. Сейчас за стол сядем, там и оскоробишься, — подмигнула Лариса.

Они вошли в комнату, полную гостей, и Лариса ее представила:

— Минуточку внимания! Это моя новая подруга Аля. Вместе в больнице лежали.

— Обе по одному вопросу? — раздался насмешливый голос. Женщины захихикали, мужчины раскатисто захохотали.

— Ну ты, Борода! Поосторожней на поворотах! А то я тебя тоже уем. Да так, что не обрадуешься, — набросилась Лариса на остряка, шуленького, в замшевой куртке, с острой козлиной бороденкой.

— Молчу! А то лишусь возможности отвесть всего этого, — воздел вверх руки бородач, указывая глазами на закуски, и повернулся к Але:

— А где вы трудитесь, разрешите узнать? Случайно не в сфере услуг?

— Нет. Пока нет! Но думаю, будет, — вмешалась Лариса и посмотрела на высокого полного мужчину, стоявшего в углу комнаты со скрещенными на груди руками. Склонив голову на бок, он разглядывал Алю внимательно-внимательно.

Когда сели за стол, оказался напротив Али и продолжал смотреть на нее, сильно смущая.

Открыли шампанское и провозгласили тост за новоселов. Все встали, подняли бокалы.

Бокал высокого мужчины подплыл к Алиному, и одновременно со звоном она услышала восхищенный шепот:

— За вас!

Растерялась, не посмела взглянуть на говорившего. Торопливо выпила шампанское и поперхнулась, закашлялась с непривычки. Села, принялась закусывать, склоняясь над тарелкой. Чья-то заботливая рука поставила рядом стопочку «беленького»:

— Это пойдет легче, надеюсь...

У Али кусок застрял в горле. Она повернула голову. Борода в замшевой куртке, сидевший через человека, покивал ей, услужливо улыбаясь:

— Вам, вам это...

Аля показала ему кончик языка: от шампанского легкий веселый туманец ударил ей в голову.

— Что, съел, Борода? — захохотал высокий.

Але сделалось приятно от внимания, которое здесь оказывали ей мужчины.

Она посмотрела на женщин за столом. Все дружно жева-

ли, негромко переговаривались, передавали друг дружке горчицу, салат.

Лариса сидела рядом с мужем. Михаил в синем костюме, при галстуке выглядел настоящим красавцем.

Провозгласили второй тост — за счастливую супружескую жизнь новоселов.

— А, была не была! — решила Аля и выпила полстопочки «беленькой»: на фабрике, когда отмечали какой-нибудь праздник или событие, всегда водку покупали, за «красным» не гнались. На душе стало легко и свободно, будто всех собравшихся в комнате знала давно.

Не успела толком закусить, как снова призвали выпить, и она прикончила остаток.

А потом в соседней комнате грянула музыка. Да такая забористая, что ноги у Али сами задробили в подстолье.

— Плясать! Все плясать! Успеете насидеться! —скомандовала Лариса, появляясь в дверях.

Все лениво заподнимались, задвигали стульями. Алю же как подкинуло, сорвало с места. Первой влетела в комнату с ярко-розовыми обоями, совершенно пустую, с магнитофоном на широком подоконнике. Рассыпала drobный топот, вывела частушку:

Выйду, выйду я плясать
В новеньких ботинках.
Все ребята говорят,
Что я как картинка.

Задробила опять, что было сил, пятками.

Увидела: высокий склонился к уху Ларисы, зашептал что-то. Лариса закивала, поддакивая.

Плясовая музыка оборвалась, и пошла другая, ровная и плавная.

Комната сразу наполнилась шарканьем ног, сделалась тесной от людей. К Але протолкался бородач, облапил талию, поволок в тесноту и сутолоку, клонясь к самому лицу бородой, от которой несло табачишем.

Але тошно сделалось. Она оттолкнула бородача и побежала к двери. Выскочила на лестничную площадку, чтобы отдышаться.

Следом за ней вышла Лариса.

— Что, голова разболелась? У меня тоже. Это, наверно, от краски. Пройдет. Ну, поздравляю тебя, милочка! Произвела впечатление на кого надо. Готовься к новой работе. В торг, к Викентию Васильевичу тебя устрою. Он там директорствует.

— Это к какому?

— Ну! Здрасте! Я ваша тетя! — Лариса закатила глаза под лоб. — Слона-то я и не заметил.

— А-а-а. Этот... — поняла Аля, о ком речь, и насторожилась:

— А кем работать у него?

— Сказал, подыщет тебе работенку непыльную. Не бойсь, за прилавок не поставит. Слишком далека от него будешь. Куда-нибудь в контору сунет, рядом с собой, — засмеялась Лариса и ушипнула Алю за бок. — Уж больно ты ему понравилась, хохлаточка! В понедельник подай заявление об уходе со своей фабрики.

Аля обрадовалась, но тут же загрустила: жалко было расставаться с товарками, к которым успела привыкнуть, да и неизвестно было, как все сложится на новом месте, каких людей там повстречает.

— Да не переживай. Сработаешься с Викешей. Мямля он. Вережки можно вить из него. Пойдем отсюда. Еще простудишься. — Лариса обняла Алю за плечи и повела в квартиру...

Должность у Али в торге именовалась методист по спорту. На этой должности никто подолгу не задерживался. А последнее время обязанности методиста выполняли попеременно несколько человек. По совместительству. Вот и пришлось Але разбирать завал бумаг, присланных из различных комитетов и отделов, составлять отчеты. Помогал ей на первых порах председатель месткома Юрий Сергеевич Корнев, в чьем кабинете находился ее рабочий стол. Он и про всю остальную ее работу рассказал, все растолковал до последней малости. Слушать его, немолодого, мудрого, с тихим приятным голосом, было одно удовольствие.

Когда порядок с бумагами был наведен, Юрий Сергеевич посоветовал Але заняться обновлением стенда спортивной славы с кубками и грамотами пятилетней давности. Да еще подсказал, чтобы не спешила: увидят — сидит без дела, загоняют побегушками.

— Меня не загоняют, — едва не слетело у нее с языка. Вовремя опомнилась. Сделалось стыдно, что кичится знакомством с директором.

Лариса каждый день прибегала к ней на работу и, выждав, когда Юрий Сергеевич выходил за чем-нибудь из кабинета, спрашивала:

— Ну, как тут поживашь, хохлаточка? Нравится?

— Ничего. Работать можно, — отвечала Аля.

— Учти. Теперь ты моя должница, — Лариса шутливо грозила пальцем и справлялась: — Не вызывал еще ни за чем?

— Пока нет.

— А может, скрываешь от меня? — в глазах Ларисы вспыхивало недоверие.

— Да что ты выдумываешь-то, Лар? Неужели б от тебя стала скрывать? Зачем мне это? — Аля прямо и открыто смотрела на подругу.

— Ну, ладно, я пошла, — поднималась со стула Лариса. — Когда вызовет, позвонишь.

И уходила.

Алю охватывало беспокойство: почему Ларису так интересуют её отношения с директором? Что она затевает?

Но возвращался тихий Юрий Сергеевич, вежливо, стеснительно просил попечатать что-нибудь для него на пишущей машинке, которую она быстро освоила, и Аля успокаивалась, принималась за дело.

Прошло две недели, как она устроилась в орг, и только тогда ее вызвал к себе директор.

Услыхав по коллектору свою фамилию, Аля растерялась, принялась шарить по столу:

— Господи, бумаги, что ли, какие захватить? Вдруг спросит.

— Да не волнуйтесь вы так! Он человек мягкий, деликатный, наш директор, — успокоил Юрий Сергеевич. — Скорее всего познакомиться с вами желает...

— Да, наверное, — согласилась Аля и вышла, чувствуя, как трепыхается в груди сердце.

В кабинете директора были двойные двери. Не зная об этом, Аля ударилась коленом во вторую, распахнула и перелетела через порог, едва не растянувшись на полу.

«Фу, как некрасиво получилось! Что он теперь обо мне подумает?» — пронеслось в голове.

— Вот как я врываюсь к вам, — попыталась шуткой скрасить свою неловкость.

— Извините, ради Бога! Это мне надо было предупредить вас! — большая фигура Викентия Васильевича взметнулась из-за стола в глубине кабинета и ринулась к Але. — Ушиблись?

— Ерунда. Она, чай, обитая, — Аля покосилась на дверь, обтянутую вишневым дермантином, и спросила:

— Зачем вызвали? Может, бумаги какие надо? Справки там? Я не захватила.

— Да нет. Ничего не нужно. Просто хочу с вами ближе познакомиться. Мне это как руководителю необходимо. Проходите, пожалуйста, Алевтина Николаевна. Присаживайтесь. — Викентий Васильевич вернулся за стол в свое кресло, указывая Але на свободный стул напротив.

Она прошла и села. Расправила складки на юбке.

— Ну, как трудится на новом месте? Привыкаете? — голос Викентия Васильевича прозвучал мягко, заботливо.

— Уже привыкла. — Аля подняла глаза на директора. Он смотрел на нее ласково и радостно.

«А он ничего», — пронеслось в голове у Али, и она ответно дружелюбно улыбнулась.

— Значит, привыкли, говорите? Ну и хорошо! Давайте провернем по вашей линии что-нибудь такое, чего никто до вас не делал. Производственную гимнастику, например, введем. Как вы на это смотрите?

— Можно попробовать. Только не знаю, получится ли. У нас на фабрике раз десять вводили, да так и не прижилась, — вздохнула Аля.

— Пусть хоть на время народ наш встряхнется, почувствует, что в коллективе появился настоящий работник по спорту, — улыбнулся Викентий Васильевич.

— А где проводить будем? В коридоре, что ли? — спросила Аля.

— Зачем в коридоре? В бухгалтерии. Там народу много сидит. Остальные из других отделов туда будут подходить. Договорились? — Викентий взглянул Але в глаза.

— Хорошо. Попробую. Когда начнем?

— Я думаю, с понедельника. А в пятницу объявим. Что-бы все были готовы.

— Вы мне поможете народ собрать? Меня не больно слушают, — улыбнулась Аля.

— Обязательно! А пока до свидания. Меня другие дела ждут...

Он вырвал грузное тело из кресла и, перегнувшись через стол, подал Але руку. Другой рукой выдернул ящик стола, выхватил из него плитку шоколада, протянул Але.

— Ну что вы, зачем, не надо!

— Не обижайте меня, пожалуйста! Это от чистого сердца. От самого-самого, — взмолился Викентий Васильевич.

— Ну, ладно. Только листок бумаги дайте, завернуть. Не пойду же я так с ней из вашего кабинета, — сдалась Аля.

— Это можно. Одну минуточку, — рука директора потянулась к пачке чистой бумаги, сдернула верхний лист: — Пожалуйста.

Аля завернула шоколадку и вышла из кабинета, держа подарок в опущенной руке. Лицо горело.

— Ну и Викеша! — шептала, идя коридором, и улыбалась. Внимание директора приятно волновало.

Взглянув на ее лицо, Юрий Сергеевич проговорил:

— Народ, народ! — не унимался гость столицы. — Народ после войны за считанные годы страну из разлуки вытащил, а нынешние горе-правители ее за такое же время превратили в отхожее место...

...«Распачесались» двоюродники чуть ли не до кулаков.

В конце концов Василий прихватил свои вещички и хлопнул дверью, несмотря на то, что на улице сильно за вечерело.

...В сумрачном переулке к нему вдруг подвалили два субъекта. Один из них, то ли парень, то ли мужик — в темноте не разглядишь, — шмыгая носом, просипел:

— Слышь, кореш, ссуди пару червонцев на пиво!..

Василий не сробел:

— Не по адресу обращаетесь, ребята. Ищите спонсоров побогаче.

Субъекты не отступали. В руке одного блеснуло что-то металлическое.

Василий понял, что «дело пахнет керосином». Он вспомнил статейку из газеты, в которой популярно разъяснялось, как защитить себя от разбойного нападения.

— Саня, Серега, дуйте сюда, будем мочить козлов! — во всю силу легких заорал Василий.

Если верить газетным наставлениям, после этого приема нападающие должны были бы сигануть в разные стороны. Но в этом случае все произошло иначе.

Во время потасовки их «повязал» патрульный экипаж милиции. Дежурный по отделению, полистав паспорт Василия, крикнул в глубину помещения с решетками на окнах:

— Витек! Тут у нас земляк твой гостит.

Из затененного коридора появился рыжеволосый парень, хмуро взглянув на покрытую синяками физиономию Василия, спросил:

— Кто такой? Откуда?

Дежурный протянул ему паспорт задержанного. Лицо рыжеволосого милиционера посветлело.

— Ишь ты, точно земляк. Из Межевского района я родом. Выходит, мы почти что соседи...

Виктор взялся проводить новоявленного земляка на вокзал. Он уверенно вел «жигуленка» по утренней Москве и говорил:

— Я раньше грибником заядлым был... У нас около деревни, в ельнике, рыжики водятся. Их батя дворянским грибом зовет... Сейчас, как только весна подойдет, занюхает у меня все внутри — не могу, к себе в деревню тянет. А начальство отпуск дает только по зимам...

В вагоне Головин недолго боролся с дремотой и усталос-

тью. Он забрался на верхнюю полку и моментально уснул. Приснилось ему лето. Он легко, как мальчишка, бежит ромашковым полем. Солнышко играет на небе. От избытка чувств Василий радостно закричал: «Ого-го!..»

Сидящая внизу старушка боязливо глянула на беспокойного попутчика и троекратно перекрестилась.

КОНФЕТКИ -БАРАНОЧКИ

Василий Стрельников, сорокадвухлетний мужчина, отец двоих детей, ездил в Волгореченск на сватовство племянницы.

На обратном пути в свой район Стрельников решил навестить старого друга, костромича Володю Соколова. Года три, наверное, не виделись.

А когда-то они вместе служили в погранвойсках, зачастую ели-пили из одного котелка.

После армии пути их разошлись, Володя устроился слесарем на «Мотордеталь» а Василий поступил в лесомеханический техникум...

Стрельников отыскал нужный дом, поднялся на второй этаж и утопил в гнезде кнопку электрического звонка. За дверью была гробовая тишина. Василий снова надавил на кнопку, потом еще и еще — все с тем же результатом.

— Куда все они подевались? — удивился Стрельников. — Вроде бы сегодня воскресенье...

Вдруг в проеме соседней двери показалась настороженная старушка, лицо которой украшали очки с перевязанными изолентой дужками.

— Нету хозяев-то, не звони... В Ростов уехали... по телеграмме. Мишка, сын ихний, в госпитале лежит. В Чечне его ранило...

После этих слов у Стрельникова сразу похолодело в душе. Конечно, ему жаль было Мишку. Но и его Колюхе скоро стукнет восемнадцать. И не дай Бог с очередным призывом тоже загремит в эту Чечню, черт бы ее побрал.

Спускаясь с лестницы, Василий вспомнил тот день, когда они с Володькой, обмыв «копытца» новорожденного первенца, шагали по вечерней Костроме и пели:

Конфетки-бараночки,
Словно лебеди, саночки!
Ой вы, кони залетные,
Слышна песнь ямщика...

— Народ, народ! — не унимался гость столицы. — Народ после войны за считанные годы страну из разрухи вытащил, а нынешние горе-правители ее за такое же время превратили в отхожее место...

...«Распачесались» двоюродники чуть ли не до кулаков.

В конце концов Василий прихватил свои вещички и хлопнул дверью, несмотря на то, что на улице сильно завечерело.

...В сумрачном переулке к нему вдруг подвалили два субъекта. Один из них, то ли парень, то ли мужик — в темноте не разглядишь, — шмыгая носом, просипел:

— Слышь, кореш, ссуди пару червонцев на пиво!..

Василий не сробел:

— Не по адресу обращаетесь, ребята. Ищите спонсоров побогаче.

Субъекты не отступали. В руке одного блеснуло что-то металлическое.

Василий понял, что «дело пахнет керосином». Он вспомнил статейку из газеты, в которой популярно разъяснялось, как защитить себя от разбойного нападения.

— Саня, Серега, дуйте сюда, будем мочить козлов! — во всю силу легких заорал Василий.

Если верить газетным наставлениям, после этого приема нападающие должны были бы сигануть в разные стороны. Но в этом случае все произошло иначе.

Во время потасовки их «повязал» патрульный экипаж милиции. Дежурный по отделению, полистав паспорт Василия, крикнул в глубину помещения с решетками на окнах:

— Витек! Тут у нас земляк твой гостит.

Из затененного коридора появился рыжеволосый парень, хмуро взглянув на покрытую синяками физиономию Василия, спросил:

— Кто такой? Откуда?

Дежурный протянул ему паспорт задержанного. Лицо рыжеволосого милиционера посветлело.

— Ишь ты, точно земляк. Из Межевского района я родом. Выходит, мы почти что соседи...

Виктор взялся проводить новоявленного земляка на вокзал. Он уверенно вел «жигуленка» по утренней Москве и говорил:

— Я раньше грибником заядлым был... У нас около деревни, в ельнике, рыжики водятся. Их батя дворянским грибом зовет... Сейчас, как только весна подойдет, занюхает у меня все внутри — не могу, к себе в деревню тянет. А начальство отпуск дает только по зимам...

В вагоне Головин недолго боролся с дремотой и усталос-

тью. Он забрался на верхнюю полку и моментально уснул. Приснилось ему лето. Он легко, как мальчишка, бежит ромашковым полем. Солнышко играет на небе. От избытка чувств Василий радостно закричал: «Ого-го!..»

Сидящая внизу старушка боязливо глянула на беспокойного попутчика и троекратно перекрестилась.

КОНФЕТКИ -БАРАНОЧКИ

Василий Стрельников, сорокадвухлетний мужчина, отец двоих детей, ездил в Волгореченск на сватовство племянницы.

На обратном пути в свой район Стрельников решил навестить старого друга, костромича Володю Соколова. Года три, наверное, не виделись.

А когда-то они вместе служили в погранвойсках, зачастую ели-пили из одного котелка.

После армии пути их разошлись, Володя устроился слесарем на «Мотордеталь» а Василий поступил в лесомеханический техникум...

Стрельников отыскал нужный дом, поднялся на второй этаж и утопил в гнезде кнопку электрического звонка. За дверью была гробовая тишина. Василий снова надавил на кнопку, потом еще и еще — все с тем же результатом.

— Куда все они подевались? — удивился Стрельников. — Вроде бы сегодня воскресенье...

Вдруг в проеме соседней двери показалась настороженная старушка, лицо которой украшали очки с перевязанными изолентой дужками.

— Нету хозяев-то, не звони... В Ростов уехали... по телеграмме. Мишка, сын ихний, в госпитале лежит. В Чечне его ранило...

После этих слов у Стрельникова сразу похолодело в душе. Конечно, ему жаль было Мишку. Но и его Колюхе скоро стукнет восемнадцать. И не дай Бог с очередным призывом тоже загремит в эту Чечню, черт бы ее побрал.

Спускаясь с лестницы, Василий вспомнил тот день, когда они с Володькой, обмыв «копытца» новорожденного первенца, шагали по вечерней Костроме и пели:

Конфетки-бараночки,
Словно лебеди, саночки!
Ой вы, кони залетные,
Слышна песнь ямщика...

...Он открыл двери первой же попавшейся на пути «кафешки». В помещении было малолюдно. В ближнем углу работал телевизор. На экране мелькали кадры какого-то фильма.

Вот за штурвалом БМП «механ» -водитель, солдат-срочник, совсем еще пацан с цыплячьей шеей... Вот камера крупным планом выхватывает бородатые лица то ли чеченцев, то ли афганцев с гранатометами и автоматами в руках, готовых поджечь машину, а затем с воплями «Аллах акбар» расстреливать русских солдат, покидающих пылающую БМПэшку...

Вот рука механика-водителя трогает рычаг переключения передач... Машина трясется от напряжения...

В этот момент экран телевизора заслонила длинноногая девица в белом переднике. Принимая от клиента заказ, она раздраженно кивнула в сторону «ящика» и зло прошипела:

— Опять войнушку крутят. Сколько ж можно! Достали уже!

Щелкнула кнопка переключателя, и на экране появился певец с закрученными наподобие рожек остатками волос. Он тонким голосом выводил: «Голубая луна, голубая луна...»

— Слышь, девушка, дала бы фильм-то досмотреть, — обратился Стрельников к длинноногой, но та и глазом не повела в его сторону.

Стрельникова это покорило. Он резко встал, подошел к телевизору и переключил на нужный канал.

— Вадик, тут один клиент выкобенивается, — капризным голосом обратилась длинноногая куда-то в темноту зала. К Василию тут же подвалил коренастый малый и нехотя процедил сквозь зубы: «Вот что, мужик, или сидишь мухой, или то-пай отсюда по-хорошему!»

Стрельников выбрал второе. А на улице из низких тяжелых облаков сыпался противный холодный дождь.

У встречного прохожего Василий «стрельнул» сигарету и сделал глубокую затяжку, чтоб успокоиться. В глазах все поплыло, предметы потеряли четкие очертания. Отвык. Курить бросил год назад. Думал, что навсегда...

Зинаида Чалупина

БЕРЕГА

Татьяна с детства любила смотреть на облака, особенно в конце августа, когда от них становится тесно в небе. Огромные, пухлые, белые, они медленно плывут куда-то, видоизменяясь ежеминутно, если дует ветерок, или долго стоят на месте в тихую погоду. Светлые, они не закрывают солнца, и спокойно

бывает в такие дни в природе и на душе. И природа и душа готовятся к осени после жаркого суматошного лета. Уже округа не походит на зеленый океан, а приобретает какой-то суховато-пестрый оттенок, потому что погребели травы, вспыхивают золотые листики в березах, желтеет стерня на скошенном поле; давно уже на ржавых вишениках начали опадать листья, а за огородами оранжевым пламенем загорелись рябины.

И душа отдыхает. Грибы-ягоды, соленья-варенья закончились; дети и внуки уехали в город: надо готовиться к школе, к поступлению в садик; им с мужем оставалась перед работой последняя неделя, и вот сегодня они решили сделать давно задуманное, но все в силу обстоятельств откладываемое: Татьяна хотелось увидеть деревню на том берегу, где прошли детство и молодость свекрови и где Татьяна ни разу не бывала. Свекрови уже несколько лет не было в живых, а эта странница ее жизни выпадала из представления Татьяны, и словно бы какую-то вину она чувствовала перед свекровью, что до сих пор не удосужилась побывать в ее родных местах, о которых ей, снохе, много рассказывалось...

— Сон мне какой чудной приснился — к чему бы это? От Быкова к нашему купальищу плывут и плывут бревна, чистые, свежие, и доски сосновые...

Сон-то не к добру оказался: через две недели ее и не стало.

Лодка тихо скользила между берегами. Давно для Татьяны родной стала эта река и эти берега. Вот здесь на коргах был их покос. Работали всей семьей, и к концу июля вырастали над водой десять-одиннадцать стогов-великанов. Бывало, уходят с реки, останутся, оглянутся, а они стоят в вечернем тумане, как богатыри. И радостно, и беспокойно станет на сердце: колхозу помогли, но скорей бы перевезли их к фермам, а то начнется охотничий сезон, много понаедет разного люда — неровен час, спялят по неосторожности.

Сено из их стогов давали только овечкам или стельным коровам: душистое, зеленое получалось, потому как они никогда траву под дождь не оставляли, старались убирать в ведро.

А вот здесь, за покосом, сплошь шли малинники, куда впервые привел ее муж, молоденькую, тонкую, за ягодой; а вот эти мосточки он с соседом Борисом Ивановичем смастерил — рыбу с них они удили, а дочки в перерыве между работой весело бултыхались возле них в прозрачных волнах. Дальше река широко разливалась в так называемое Немцово озеро; еще дальше Татьяна и не бывала и теперь с любопытством оглядывала высоченную осоку, камыши, из которых вдруг утка выплывает и шарахнется в испуге обратно или соскользнет в воду с низкого берега водяная крыса. Наклонится к воде, а там во-

доросли шевелятся, и вдруг среди них мелькнет, как полено, огромная щука, и становится жутко, хотя и знаешь, что в лодке безопасно...

— Так и не понял тятенька, почему обидела его новая власть: из-за того ли, что мозоли с рук не сходили, или из-за того, что нас, девчонок своих, заставлял работать с малолетства, или из-за того, что стояли во дворе корова-кормилица да две лошади. Так это ведь трудами все было нажито, потом — один он мужик в хозяйстве-то. Ничего не приняли во внимание. Забрали в колхоз самое дорогое — лошадей. Затосковал тятенька. А с тех пор, как голодранец Васька Рябов с дуrolомной головы загнал насмерть одну из них, красавицу Майку, он и вовсе почернел лицом. Уйдет за баню, сядет на краю оврага, голову обхватит и глухо так застонет. Вот и зачах от тоски и быстро убрался на тот свет...

Татьяне виделась эта деревня почему-то всегда в сумерках: огороды, бани, дома под серыми крышами спускаются к медленной спокойной воде. И очень много комарья.

А деревня, наоборот, долго тянулась вдоль берега, отступив от него на довольно большое расстояние, и только у поворота подходила почти к самой воде. Здесь-то и стоял когда-то на невысоком пригорке дом свекрови...

— В половодье вода поднималась к самому огороду, тятенька уток прямо с крыльца стрелял. Рыба у нас всегда на столе была. Он из лозинки неретки мастерил. С вечера поставит — к утру полнехоньку вытаскивает. Никогда не голодовали, не как некоторые: у воды живут, а лень портки замочить, лучше на печи сидеть да зубами щелкать...

На высоких мостках стояла девочка в сарафанчике с самодельной удочкой, а за ее спиной сидела кошка; видно, рыба для нее ловилась.

— Клюет ли? — поинтересовался муж.

Девочка ответила неожиданно низким простуженным голосом:

— Клюет.

Вот и приехали. Конечно, теперь жила здесь другая семья, да и строение было не то. После смерти хозяина дом перевезли в город, дочери устроились работать на фабриках, было это уже после замужества свекрови.

Но место это осталось, и огромная ива под окнами жила. В старом семейном альбоме Татьяна часто смотрела на фотографию: еще совсем молодой деверь Николай Михайлович стоит под этой ивой с двумя своими друзьями. Лет-то прошло! А ива не поддается старости.

Вот, значит, где бегала купаться плотненькая синеглазая

девочка Настя; девушкой вместе с подружками и парнями прыгала через костер, который зажигали на берегу в ночь на Ивана Купалу; отсюда по лавам перебегала на левый, лесистый берег, за грибами и ягодами; отсюда ее увезли на венчание, а потом в чужую деревню, а в своей она после этого бывала редко; со временем и не к кому стало приходить...

— Долго я не могла привыкнуть к мужниной деревне. К реке тянуло, а оттуда до нее через поле да через лес, высоко стоит. А у нас и поливка для огорода рядом, и каждую тряпочку в вольной воде выполощешь, и сама по летнему времени вечером вымоешься, как шелк станешь. Потом ничего, притерпелась...

Посидели на лавочке (и тогда была), вышли хозяева, соседи собрались. Начались воспоминания, Татьяна слушала, смотрела, сходила к бане на краю оврага (и эта на прежнем месте стояла). Что-то стронулось в сердце, прикоснулось оно к прошлому, к уголку огромной земли, где прошла жизнь для одних и началась для других, и значит, нет ей конца. Что-то еще увидит старая ива, пока перестанут держать ее корни, пока не упадет с последним вздохом на этот берег?!

Обратно плыли молча. На вечерней реке посвежело, все-таки был август, и берега как-то сразу закрыли деревню.

Татьяна не знала, о чем думал муж, воспоминаний-то было больше у него. А ей казалось, что она сделала какое-то большое, важное дело и что можно было в книге жизни свекрови поставить точку. Только сейчас.

У нас у всех есть свой берег. От него мы уходим в жизнь. Бываем счастливы, если сюда есть возможность возвратиться, отдышаться, оглянуться на прожитое, сделать выводы, утешительные или не очень, и вновь пуститься в плавание. И, конечно, грустим, если берег юности остается недостижимой мечтой: жизнь иногда распоряжается по-своему и в такие дальние дали уводит...

Но даже самые черствые сердца теплеют при воспоминании о родном доме, о матери, стоящей на пороге, о речке детства. И нет прощения тому, кто все это забывает, вычеркивает из своей жизни, из памяти...

— Да, притерпелась-то я притерпелась к чужому месту, а тосковала долго. Помню, изгодится времечко свободное, бегу в лес за ягодами и обязательно — на Кручу, чай, знаешь, оттуда нашу деревню всю видно, как на ладошке, а избу тятенькину особенно, крайняя. Так бы, думаю, реку-то перелетела птицей да на свой берег...

СЕАНС

Сеанс закончился. Они возвращались домой.

— Ну как ты? Чувствуешь чего? — осторожно спросил Федорко.

— Чувствую, — шмыгнул носом Василий. — Десятки в кармане не стало. А ты?

— Пока ничего. А вот Шурка-то, смотри, даже заснула. Подействовало, видать. Наверняка, пить не будет. Вон как заговорил.

— Заговорил, заговорил, — передразнил его Васька. — Это она спяну заснула. Еще никакого экстрасенса не было, а уже храловцакого задавала. Хватанула напоследок лишнюю — вот и заснула.

Васька шел посреди дороги, широко размахивая руками. Следом едва успевал за ним Федорко.

— И тошноты нету? — спросил впереди вышагивающего соседа.

— Чего? Чего? — не поворачивая головы, переспросил Василий.

— Не тошнит, говорю? После лечения, слыхивал, тошнит, спасу нету. Особенно, когда водкой попахивает...

— Сказанул тоже. Тошнит. Да меня отродясь не тошнило...

— Ну, после лечения, должно, — не отставал Федорко. — Мужики сказывали...

— А ну-ка, — Василий резко остановился и повернулся к соседу, — дохни на меня!

— Зачем? — захлопал глазами Федор.

— Раз говорю дохни, значит, надо, — начальственным голосом проговорил Василий. — Эксперимент хочу провести.

Федор приподнялся на цыпочках, осторожно и коротко выдохнул прямо в лицо Василию.

— Да ты по-настоящему! Как перед бабой, понял?

Федор, расправив плечи, набрал воздуха и сделал резкий выдох.

— Странно, — сморщил нос Василий, — разит как из бочки, и ничего... С души не воротит. А ну-ка, Федор, давай-ка я на тебя дуну.

Он сгорбился перед соседом и выдохнул:

— Ну и как?

— Пахнет...

— И больше ничего?

— Ничегошеньки.

— Тогда пошли, — махнул рукой и еще быстрее-зашагал к дому. Поравнявшись с калиткой, он вытащил недопитую заначенную бутылку и сунул ее за пазуху. — Айда в дом! Покуда жены нету, лечение проверим.

Они зашли в избу. Василий достал пару стопок и поставил на стол.

— Нет, нет, нет! — пулеметом затараторил Федор и замахал руками, словно отбиваясь от налетевших на него ос. — Ты, Васька, как хочешь, а я не буду — под ножом не заставишь. Недавно, слыхал, мужик тянул после лечения и сразу же помер, а ведь и на грудь-то принял, сказывают, граммов пятьдесят и не более...

— Кто? В какой деревне?

— Кто и где не знаю, — пожал плечами Федор, — но, говорят, был такой факт. Сам слышал, но вот от кого — память отшибло, не помню. Ежели пить, — рассудил он, — то надо обязательно идти разлечиваться...

— А ну тебя! — обрезал Василий. — Говорят, в Москве кур доят, а баб на яйца садят. Наговорят всякого — только уши развешивай.

Он налил полстопки.

— Ты чего? — испуганно уставился на него Федор. — Дуба дать захотел? Жить тебе надоело?

— Жить, конечно, не надоело, а испытать это самое хочется. Может, это и не лекарь вовсе, а баламут какой-то вроде меня или нашего токаря. Тот тоже любому зубы заговорит.

— Васька, не надо, — дрожащим голосом сказал Федор. — Нехорошо может получиться, а я что с тобой буду делать? Я ведь даже искусственного дыхания делать не умею... Не пей, Васька, умоляю, не пей!

Василий нахмурился, молча обвел взглядом стены и потолок, словно все это в последний раз, поднес стопку к губам, но пить не стал.

— Ладно, попробуем по-другому, — согласился он с Федором.

Отодвинув стопку в сторону, Василий достал из стола чайную ложку, накапал в нее из бутылки и осторожно, чтобы не расплескать, схлебнул...

Федор от неожиданности и удивления приоткрыл рот и замер, будто окаменел.

— Прошла, — сказал Василий, поглаживая себя по груди.

— Ну и как? — спросил придя в себя Федор.

— Да вот так, — ответил Василий. — Жив, здоров и тебе того желаю.

— Не тошнит? И не жжет нигде, не колет? А сердце? Не бабабит? Не рвется на волю?

— Химера все это, понял? Ерунда на постном масле, — смело рассудил Василий и уже без опаски взял со стола стопку и залпом осушил.

— Во дает! — покачал головой Федор. — Храбер ты, Вася-ка, храбер! Мне бы ни в жизнь не решиться. А ты — вот голова садовая.

— Хочешь — так наливай, — предложил Василий. — Испытай на своей шкуре.

Сосед замялся и в нерешительности заерзал на стуле:

— Ну если маленечко. Для пробы, что ли.

— Пей, или жалко, — проговорил Василий и налил ему пол-стопки.

— Нет-нет, — запротивился Федор. — Давай сначала ложечку. А вдруг у меня организм слабее твоего...

— Как хочешь, — протянул Василий. — Только в ложечку сам и наливай, а то я и мимо могу накапать.

Федор дотошным аптекарем склонился над столом. Он, глядя на свет, накапал в ложечку из бутылки.

— И впрямь, ничего, — оживленно заговорил он, занюхивая корочкой хлеба. — Вот надо же — лечился и пью, будто и не был на сеансе. Может, и это, — показал он на стопку, — попробовать.

— Давай, а то чего, как кошка, из чайного блюдца лакаем.

Они опустошили бутылку. Захмелевший Федор засуетился, заерзал на стуле, словно на иголках, стал собираться домой.

— Забор покосился, поправить надо, а то, неровен час, и козы забраться могут, капусту пощипать.

Но Василий остановил его, положив на плечо свою тяжелую широкую пятерню:

— Огород подождет, да и капуста твоя никуда не денется. Пойдем-ка мы к Трофимычу сходим, с лекарем этим поговорим. Почему, спросим его, от лечения толку нет? Нет, — погрозил он пальцем, — спорить с ним не будем и грубиянничать тоже. Ласково так спросим. Да и наплевать, если его работа впрок не пошла, я же и лечиться-то вовсе не хотел, просто интереса ради ходил. В клубе давно не бывал, да и с тобой, Федор, за кампанию, а то бы меня туда на аркане не затянуть.

— А ловко ли идти-то к нему? — засомневался в затее Федор. — Все-таки человек незнакомый, да еще какой.

— Неловко штаны через голову одевать. Пошли!

— А меня жена захомутать может, — рассудил Федор. — Она сейчас аккурат от дочки пришла и сидит, наверное, у окошка, пялится — меня поджидает. Куда, скажет, гуси лапчатые поплыли?

— Да ты огородом прокрадись, на кой ляд тебе по улице переться. За клубом встретимся и к Трофимычу.

Они так и сделали. Василий бодро шагнул по улице и свысока поглядывал туда, где за огородами хитрым и осторожным лисом крался сосед.

Трофимыч встретил их с радостью. Он поднялся из-за стола с распростертыми для объятий руками и осторожно пошел навстречу гостям.

— Василий! Здорово! Да ты как надумал зайти? Уж год, наверное, не бывал? И Федор тут? Вы проходите, проходите к столу — милости просим. Гость у меня — знакомьтесь.

— Мы уже виделись, — ответил Василий.

— Да ну? — удивился Трофимыч. — Когда же успели?

— В клубе с ним нос к носу были.

— Тогда тем более к столу, мужики, — поторопил их хозяин и, подхватив под руки, усадил за стол, густо заставленный закуской.

Они не стали противиться, сели рядышком напротив краснощекого экстрасенса. Трофимыч пошарил рукой под лавкой и выставил на стол бутылку водки, только что распечатанную, и разлил на четверых. — Мы с Александром Мокеевичем, — хвастливо заявил хозяин, — уже часочка два так сидим, разговоры ведем. Ну давай, мужики, за встречу, что ли? А то живем рядом, а встречаемся, чтобы вот так — за столом, раз в год и то не выходит. Отучили, отучили нас гурьбой собираться, теперь все по одиночке норовят. Дешевле будто, да и славы меньше. А не один ли черт получается?

Федор, слушая Трофимыча, вопрошающе посмотрел на Василия: «Пить, мол, или не пить?» Василий едва приметно кивнул. Звякнули стаканы, зазвенели вилки.

— А мы ведь того, — не успев закусить, торопливо заговорил Федор, уставившись на экстрасенса, — лечились сегодня. У вас, промежду прочим. А смотри — пьем, и хоть бы хны. Василий подтвердить может, он там был и деньги за это отдал — тридцатку.

— Да ладно ты, — остановил его Василий. — Не лезь в бутылку. Подумаешь, тридцатка — плюнуть да растереть.

— Это для кого как, — парировал Федор. — Она тоже на дороге не валяется.

— Из-за чего сыр-бор, мужики, — вмешался хозяин. — Александр Мокеевич человек хороший, честный и порядочный. Мы с ним когда-то в санатории вместе отдыхали, а теперь, видишь, чему он научился? Не каждому такое дано. Ценить людей надо и уважать...

— Так пусть и он нас уважает, — не вытерпев, вставил Федор. — А то пыль в глаза получается. Не так ли?

— Не стрекочи! — строго остановил соседа Василий. — Дай человек сам скажет, что и к чему.

Александр Мокеевич отложил в сторону вилку, которой во время спора мужиков выскабливал со сковороды остатки подгоревшей картошки, неторопливо заговорил. Из-за навязавшейся нескладицы икоты он обрывался на полуслове, повторялся.

— Оно, лечение это, по-разному на всех действует. Кто-то сразу перестает, кто-то потом, а кто-то и вовсе не поддается. Может, вы из тех, из неподдающихся. А деньги я и обратно могу отдать...

— Успокойтесь, мужики, — перебил его хозяин. — Все равно когда-нибудь да бросим. Давай-ка, — обернулся он к Василию, — беги за гармонью. Поиграй, чтоб душа запела — веселимся-то в кои веки...

Идею хозяина поддержал и Федор, уже успокоившийся и даже довольный тем, что он не какой-нибудь простой мужик, а неподдающийся никакому колдовству.

— Сходи, Вася, — заискивающе посмотрел он осоловелыми глазами на соседа. — Чего тебе стоит — вон ходули какие, за пять минут обернешься.

Василий в нерешительности сидел и смотрел поверх головы все еще икающего экстраенса. «А вроде бы и ничего мужик. Другой бы, может, и вздир полез, стал бы выпендриваться или вообще деньги отхватить и смотаться...»

— Иди, Вася, — обнял его за плечи Трофимыч. — Публика ждет. Покажи гостю, как наши играют. Между прочим, — поднял он палец вверх, — Василий у нас лучше, чем по телевизору, играет и даже песни сам складывает. Артист — да еще какой! Не веришь, Мокеич? Убедишься...

После такой похвалы Василий смяк и пулей слетал домой.

— Давай русского! — встретил его у порога хозяин.

Василий лихо развернул меха. Трофимыч с ходу пустился в пляс, петухом выскочил и задробил перед ним Федор. Не удержался и Александр Мокеевич, да и сам Василий, не выпуская из рук гармошки, заходил по кругу. Изба ходила ходуном.

— За стол, мужики! — первым вышел из круга, утирая рукавом потное лицо, Трофимыч. — Передохнуть надо.

Потом Василий заиграл снова. С гиком и свистом выплясывал хозяин, бесом вертелся гость.

Федор был уже не в силах встать из-за стола, сидя приплясывал и пытался в такт заливчатой игре хлопать в ладоши... И вдруг Василий неожиданно для всех перестал играть.

— Все, мужики, — выпалил он, глядя в окно, — больше не пью, не играю.

— Подействовало, что ли? — не понимая ничего, спросил Федор.

— Ага, подействовало, — передразнил его Василий. — Трубы привезли — теперь мне работы во! По самое горло! Не до этого теперь будет.

Он схватил фуражку и выскочил на улицу.

— Гармошку принесете, — крикнул Василий в раскрытое окно и засеменил к школьному зданию, где стояла машина с длинными водопроводными трубами.

— А на посошок? — крикнул ему вслед Трофимыч.

Василий в ответ только махнул рукой.

«Ну все — теперь Васю от работы за уши не оттащишь», — рассудил Трофимыч и посмотрел на сиротливо стоящую на табуретке гармонь...

Алевтина Алфёрова

НА КОРДОНЕ

Кордон Бор Тимонино — справа вода, слева вода, и сзади, и спереди, — на узеньком мысочке среди болот и заливов Рыбинского водохранилища расположенный. Зимой до нас можно добраться по льду, летом — на лодке: кричи с того берега — перевезём. У нас есть и катер, и карабин — мы и лесники, и охрана.

Свой норов Бор Тимонино показал сразу. На кордоне кроме нас в доме напротив — ещё двое лесников: Акимовна и Лексеич. Родной их дом в Большом Дворе. Зимой — туда санный путь, летом — по кладям через болота. Я ходить по ним не рискую — эквилибристика на бревне длиной в пять километров мне не по силам. Сын наших соседей живёт на центральной усадьбе, для заповедника — как в райцентре. Ему собрали родители котомку и положили мешок со шенком на сани.

Сидим за столом, знакомимся, тракторист с нами. Вдруг: «Ай-яй! Утащила, негодяйка! Ай-яй!» Лиса учуяла щенячий дух и стянула мешок. Отбили.

А меня за рюмочкой упреждают: в туалет-то ходи, да поглядывай: две гадюки живут — уже март, скоро выползут. Весёленькое местечко!

Наш дом построен на века. Бывший хозяин отбирал неохватную сосну сам. Не дом — крепость. В подполье ходим не пригибаясь. Сеновал большущий и весь в мелком гвоздике — пока не знаю, зачем.

Итак, что же мы приобрели? Дом — пятистенку: три комнаты, кухня, большая терраса, удобства во дворе со змеями. Скотный двор на полстены в навозе. Электричества нет — движок далеко, у леса, чтоб не тарахтел в ухо. И с изыском — заводится с трудом и «кушает» много солярки. А она у нас считанная. Включаем вечером на пару часов — телевизор посмотреть да посуду помыть (а мы-то через всю страну возим за собой холодильник). В каждом помещении — своя керосиновая лампа. Пять прожорливых печей. Торговая точка за двадцать километров, хлеб печём сами.

Связь с «большой землёй» — центральной усадьбой — телефонная. На линии несколько абонентов, вызов ручкой: к нам три крутки.

Заповедник — мир особый, и жизнь здесь течёт по своим законам. По утрам на крыльце следы горноста: проверил — заперта ли дверь? Заперта. А в баню зашёл — стащил помазок и мыло. Зачем?

Моя главная подружка — Муська, особа абсолютно независимая. Досталась нам от соседей. Последние полгода жила на скотном дворе. Из родного дома изгнали — приловчилась снимать сметану с молока. Наш её пригрел, и она гостеприимство оценила: каждое утро у крыльца находим тушки птиц, мышей, рыбок: кошка считала себя обязанной и платила за добро. Был у неё приятель — соседский кот: рыжий, мордатый, нашей красоте явно не пара. Но другого в округе нет, и она понсволе принимала знаки его внимания. Муська ещё нежится у теплой печки, а Васька уже томится на заборе. Толкаю подружку — беги. Ждёт!

Ах, каким потягом она начинает день! И лапки-то в струнку, и коготки-то пол царапают. Ещё чуть-чуть и, словно топ-модель на подиуме, пошла писать восьмёрочку наша кошка. Выхлещ узкий таз, морда — носом вперёд, полуприкрытый глаз. Секс-бомба, да и только!

Кот спрыгивает с забора и покорно семенит следом. А Муська вдруг замирает, замуривает глаза... Васька в один прыжок возле. Забегает вперёд, прижимается к её груди и... лижет, лижет ей шею — нежно, старательно. Муська вертит башкой, мурлычет... Ей приятно, а мне противно — вылизал ей рыжий шею догола. Она у неё — как у оципанной курицы. Зато на подбородке — колтун, не прочешешь, не выстрижешь. Тоже мне, друзья-полюбовнички!

Кто научил её кувыркам через голову? Делает их Муська мастерски, но только для зрителя. Сядет передо мной, мяукает.

— Не хочу! — притворно сержусь я.

— Мяу! — просит кошка.

— Ну, ладно! Один разок! — разрешаю.

И начинается бесплатное представление — лакомство я ей не даю, она и не просит.

Очень любила гулять — не я с ней, а она со мной. В лес бежит впереди, оглядывается — поспеваю ли, или вдруг мяукнет — мол, приостановись. Влезет на дерево, пошарит в кустах и опять бежит передо мной.

Всё-то она знает, а гнездо куропатки прозевала. Да и я чуть не раздавила пёструю птичку: застыла та в гнезде, только глазки-бусинки блестят.

При всей вороватости натуры оказалась Муська хорошей нянькой. Привезла я из Рыбинска цыплят, шестьдесят ртов. Двадцать заказала Акимовна, сорок моих. Чтоб вся эта орава не разбрелась по дому, огородила её досками. А Муська тут как тут. Хана моим птенчикам! Инстинкт у добытчицы срабатывает, и не дожусь я куриной лапшички.

Выгнала кошку, а та обратно через лаз в полу. И опять возле них. Любопытно вертит башкой, иногда поправляет цыплёнка лапкой. Она караулит их, я её. Инстинкт молчит.

А цыплята подрастают и гибнут по одному в моих неумелых руках. Ни полечить, ни покормить бедолаг я ещё толком не умею, хоть и вожусь с ними целыми днями. Чтоб друг дружку не давили, разделила на несколько кучек, по активности, по габаритам. Квёлых держу в корзине, настырных — в открытой загородке.

Когда построили загон на улице, Муська и туда пролезла. Уляжется на травку, дремлет. Орущая орава и на ней, и через неё. Надоедят, смахнет лапой и опять спит. Так и растила их вместе со мной.

Век живи, век учись! Принесла я однажды грибов-дождевиков. Как набросились на них желторотые. Кто бы мог подумать?

У соседки растут двадцать сонливых петухов. У меня — уже только тридцать акробатов-циркачей. Хлопну дверью, они все у калитки. Заберутся на жердь заборную, друг дружку спихивают, чтоб я их... под крылышком почесала. И на плечи взлетают, и на голову.

Была у мурлыки ещё одна страсть: обожала кошка ужей. Тварей этих ползучих — целый двор, кучами греются на солнышке. Я их боюсь, а они меня ни во что не ставят: переползают дорожку и нахально шипят. А мужа боятся. Как они его узнают? Я выхожу — лежат, он выходит — их словно ветром сдуло. И Муську тоже. Эта что мышкой ужом играла. Ляжет под куст, уложит его меж лапками вдоль тела — и шевельнуться не моги. Башку тот повернёт, тут же по ней и схлопочет. Спит

свой способ доставки. Воткнёт в глаза и волочёт по граве до дому. Я так не могу — мне её жаль. А после того как у меня запрыгали хвосты разделанного, разрезанного на куски леща, я и чистить-то рыбу отказалась.

Милану варю каждый день 10-литровую кастрюлю еды. Прожорливый лёс подбирает всё. Зато его и кабаны боятся. Хитрые зверюги! Только посадили картошку, не успели Милана к ней поближе перецепить — свиньи тут как тут. Перепахали всё поле. Часть картошки сожрали, остальное перепортили, затог... ти. Пришлось начинать всё сызнова. Милана пересадили к полю поближе — наша зверюга лесную близко не подпустит.

Это, конечно, беда, но пожар страшнее. Браконьер не дремлет — браконьеру тоже хочется рыбки. Ходит с острогой, с сетями. Острога — здоровущая вилка, ею бьют шуку. Дело не простое. Вода предмет преломляет. Думаешь, в рыбину бьёшь, а она вовсе в другой стороне. Хоть браконьеры — ребята ушлые и навык в этом деле имеют, но калечат рыбы много. Лесники мои на страже день и ночь: на катере и с карабином. Заслышав их мотор, рыбацки убегают — только снасти подбери. Лезут в заповедник и чужие, и местные из прилегающих деревень. У нас зона запретная, без пропуска в неё не войдёшь. Но линия берега длинна, мотор чужой не всегда услышишь. Вот и курсирует по заливам, по морю наша охрана. В лесу сейчас сторожить нечего — вода поднялась, болота взбухли, не пройдёшь. Но на лес мы всё-таки поглядываем с вышки. Не бросил ли кто-где окурок? Бросил!

Муж в Тихменево на сессии, а мы с Лексеичем углядели-таки дымок — километрах в пяти от нас. Первый в моей жизни лесной пожар. Как же он страшен! Огня стеной ещё нет, пламя жрёт сухие вершинки травы, гнилые пни. В пожаре гектара четыре. Мы в резиновых сапогах. Под нами вода — лес затоплен вешними водами. Странное зрелище: вода, а над нею огонь. И втаптываю я его сапогами в лесные разливы, ступня за ступней, как танцую. А рядом уж новый очаг. Лексеич сражается с пнями — мне они не под силу. Топчу, топчу! От страха тихонечко подвываю. Сколько ж ещё плясать?

В тот раз мы справились с огнём, но теперь я знаю, как страшен он для всего живого. И меня не надо посылать на вышку. Я сама туда лезу добровольно. И вдруг... снова туча дыма над лесом. Я к соседу. Поднялся, глянул, рассмеялся. Такою тучей поднимаются в небо комары. Они ещё до нас доберутся, попьют нашу кровушку, но пока на душе — праздник: не пожар!

Весна радует гусиным гоготом, танцами журавлей, рыбными нерестилищами. Вся природа озабочена размножением.

А главный лесничий привозит двух волчат — словно разной породы шенята. Один спокойный, даже дружелюбный, другой — злая шавка: тявкает, кусает, забился за приборную доску катера, не вытащить.

Медведя встретить не удалось, а тропить его муж ходил. Это значит — найти медвежий след и выйти по нему к берлогу. Зверь её уже покинул. Нам предстоит определить — одна ли вышла из неё медведица, ведёт ли с собой медвежонка, и не одного ли? На снегу валялись двое — значит, родила. Берлога просторная, муж в ней полежал. Уютно!

Я с удовольствием слушаю байки Акимовны. Жаль, нет магнитофона, не записать её вологодский говорок, такой милый моему сердцу. Нам они рады: вдвоём вдаль от людей скучновато. В кои-то веки приедет начальство, а самовольная отлучка запрещена. Да и куда денешься от скотины?

Большое развлечение — приход заготовителя скота из Вельсегонска. Он заберёт Красавчика. А быка бы на племя! Но так уж заведено. Акимовна держит пришлого мужика за большого начальника. Ну-ко! Чай, в райцентре человек живёт! И каждое слово его — чистая правда! Я не перечу. Пусть верит.

Борис Бочкарёв

ПРИБЛУДНЫЙ ЗВЕРЬ

Из романа «Вещий голос тишины»

Тихо. Полутемь над заснеженной поляной. Сумрачный лес вокруг, а в небе звезды — минуты неподвижного обострённого покоя, которому особо чутко внешние звери. В глухой тени под козырьком крылечка Барсар прислонился к двери домика, затаился, настороженно и внимательно слыл с темнотой. Слева в полусотне шагов чёрный сарай и полупрозрачный во тьме вольер из металлической сетки. В вольере матёрая псина, с прилудным волком спаренная. На сквозной прогляд по белому заснеженью далеко видится. Впереди поляна. Там у лесного закрайка что-то зашевелилось тёмным пятном. Крупный гривастый зверь, то внаскок, то замирая, приближался к сараю. Зверь наполовину миновал поляну, остановился и что-то веское положил на снег перед собою. Зеленовато-жёлтыми блёстками сверкнули его глаза. Грома-

дина волк, подбитый осенью. Зверь постоял, вскинул голову, схватил запах верхним чутьём. Почуял человека и тут же резкими скачками взметнулся в обратную сторону. Осторожно, не скрипнув дверью, Барсар вернулся в домик. Полюшка спала. Не потревожив милую, Барсар бросил на пол тулуп, в изголовье ватник и так проспал до утра, усыпленный ровным дыханием жены.

Утром через лаз в сенях Барсар взобрался на чердак домика, прорезал в дощатой крыше оконце в сторону сарая. Три ночи кряду он караулил зверя — и всё попусту. Днём было видно: посреди поляны на снегу лежал брошенный волком ягнёнок. Динга поскуливала, тосковала, но волк не приходил. Умаявшись сидеть на корточках, Барсар затащил на чердак старый стул, отпилил ему ножки — соорудил на мягких барабанных шкурах вольготное сиденье. Отоспавшись днём, снова взобрался на чердак. Полулёжа, в валенках, в овчинном кожухе, в малахае Барсар к утру нечаянно вздремнул. Что-то вдруг торкнуло его во сне, замерло, глянуло зелёными глазами, на мгновение остановилось и почти въявь промелькнуло плоское лицо Лешего. Барсар очнулся: возле вольера стоял могучий волк. Он появился с первым заревом, нахлынувшим оранжево с востока. Динга, виляя хвостом, юлила, поскуливала по другую сторону металлической сетки, а волчья пасть слегка отвисла в доброй звериной улыбке. Волк сел на хвост и мирно, совсем не по-волчьи всё смотрел и смотрел на Дингу. Волк зевнул с лёгким окающим подголоском, встал, прохромал вдоль сетки, неловко опираясь на криво сросшуюся переднюю ногу, и снова сел, склонив набок большую гривастую голову. Динга поюлила, повиляла хвостом, мотнула головой и опрометью забежала в сарай. Оттуда слышался щенячий скулёр, и через минуту, осторожно ступая, Динга вынесла в зубах толстого скулящего щенка, положила на сennую труху, устилавшую вольер, и снова посмотрела на волка. Волк задрал башку к небу и повыл. Прикусив щенка за шиворот, собака отнесла его обратно, вынесла второго, потом третьего, и волк трижды одобрительно выл. Динга вернулась. Волк ткнулся мордой в железную сетку. Динга лизнула его в нос.

По первой минуте Барсар привычно вскинул ружьё, но в прицеле сияла не по-волчьи ласковая морда, а Динга, встревоженно кокетливая, металась за сеткой. Барсар стиснул ружейное цевьё, но так и не выстрелил. «Э-э-х, — вздохнул он. — Вот она — любовь, хоть и звериная, но любовь». И помыслил о том, что секунда — и он мог бы выстрелить.

* * *

Волк приходил через два дня на третий, но бывало, появлялся и позже — дней через пять. Добыть пропитание в зимнюю пору для зверя дело нелёгкое, и можно было дивиться настойчивым заботам, с которыми волк не оставлял семью. Он приносил дохлых куриц, где-то добывал падаль и какие-то кости. Ни разу не вспугнутый, смело шел по наторённой тропе, и Барсар преднамеренно не встревожил ни разу.

— Возьму в лесу, — сказал он Севастьяну Аристарховичу, сторожу базы. — Нельзя его здесь убить: и собаку, и щенков попортить.

— А беды новой не накличешь? — спросил престарелый сторож. — Пока ты его споймать собираешься, он на всякого встречного может наброситься.

— Ничего, управлюсь, — пообещал Барсар.

Однако слова сторожа встревожили. Полянка выходит свежим воздухом подышать. Гуляет неподалёку. Без этого женщине беременной невозможно. Севастьян Аристархович курит или дремлет в своей срубовой тёплой сторожке, сам ты в делянке, а Полюшка вокруг да около бродит одна. Бригада работает всего лишь в пяти километрах от базы, но Барсар добирается к дому только вечером, когда отправит бригаду в село отдыхать.

В начале марта потеплело, снег осел, и лыжи, обработанные мазью под ноль градусов, всё же плохо двигались по снегу. Время поджигало: скоро у Полюшки решающий день — роды. Развезёт распутица — застрянешь в дороге, до больницы не добраться. А схлынет снег — попробуй сынци зверюгу по чернотропу.

На рассвете, взглянув на волка с чердака, Барсар не заметил в его морде прежнего отцовского умиления. Волк сожрал павшего ягнёнка, которого оставил посреди поляны, и горящий взгляд хищника целился на домик. Барсар пригнулся, чтобы не обнаружить себя встречным с волком взглядом, и в ту минуту ему представилось, как волк набросится на Полюшку. Чего-то ждать было попросту невыносимо. Сказалась зима: волк истощал и проявился хищной злобой.

Барсар оставил бригаду помощнику на три дня, по утреннему морозцу, когда твердеет снежный наст, обошёл поляну стороною. Метров за тридцать от наторённой волком тропы выбрал укромное место среди низкорослых густых ёлок. Зверь чует опасность острее человека. В голове человека интуицию заглушают его мысли, а мозг зверя, не раздёрганный словами, способен на предвидение. Без такой способности никакому зверю не выжить в лесу.

Хорошее целевое место предполагало удачу: из густого низкорослого ельника метров на сто смотрелся лесной прогал, по котором ходил зверь. К тому дню, как быть засаде, Барсар повесил чуть поодаль скрадка свою старую пропотевшую телогрейку, и волк не приходил пять дней. Теперь его следовало ждать изо дня в день на рассвете: покружит вокруг да около телогрейки, всё пронюхает, всё обойдёт сначала издали потом ближе подступит — убедится, что запах безопасный, и только тогда выйдет на тропу в смешанный запах телогрейки с таким же запахом охотника. Дело сторожкое. Здесь бить, так бить наверняка.

Спустя три дня Барсар вернулся в бригаду и ещё через неделю снова направился в скрадок. Шаркая по старому лыжному следу, он сразу заметил волчью неровную стезю, что протянулась почти до телогрейки. Зверь побывал возле и убедился, что опасности здесь нет. Барсар полагал, что зверь объявится вскоре, но получилось не так: зверь не явился там, где его стерегли, и ждать его из ночи в ночь на чердаке, как видно, было бесполезно. Сработало очевидное: зверь импульсивно, помимо запаха, чувствует человека. Он бродит вокруг, а постоянного места у него нет. По глубокому снегу и здорового волка настигают на лыжах через пятнадцать-двадцать вёрст. На хромом вёрст потратится меньше.

Спозаранку — чуть забрезжил рассвет — Барсар по холодку направился по следу. Лыжи шумно шаркали по крупитчатому насту, и зверь, разумеется, уловил шорох издали. Сойтись на выстрел — нечего было и думать. Вспугнуть и начать изнурительный гон — самое простое и очень трудное дело. Тут кто кого и кому на сколько хватит сил. Зверь и самый хищный предпочитает от человека уходить, только смертельно раненный или вконец изнурённый бросается на человека. Кабан, медведь, волк и в своей предсмертной агонии мстят человеку.

Барсар стронул зверя километров через пять. Волк на дневку выбрал место под кучей охвостья от осенней вырубки. Кто-то свалил пять крупных осин, вероятно, на доски для потолочин в бане: осина крепко держит пар и не плачет смолой. Судя по следу, почти не застывшему, волк стронулся с места около часа тому назад, когда Барсар только что ступил в закраек леса.

Гон перевалил на вторую половину дня, и волк сузил круг до трех километров — сказала хромота. Зверь уходил постоянно влево. Поврежденное выстрелом ещё по осени предплечье и зависшая криво передняя лапа клонили его в сторону. И ещё два часа Барсар шёл по кругу, когда волк наконец-то потянул по проторённому охотником следу.

Зверь пошёл быстрее, а усталый человек медленно двигал ногами. Предчувствуя скорый исход, Барсар остановился на своей недавно пробитой лыжне. Зверь был где-то рядом, и вдруг чувство опасности прихлынуло к Барсару — оглянулся: с полусотни шагов тяжелым налётом к нему кинулся зверь. На лыжах вмиг не развернуться — Барсар выстрелил влобоборота. Картечь рассадил зверю плечо, он рухнул, хрипя и скалясь, пополз на человека, извивался, остервенело угребаясь по снегу. Барсар встретился с ним взглядом. Во взгляде зверя — непокорённость, хищная сила и власть. Зверь ненавидел Человека! Второй выстрел не скоро потушил блеск свирепых волчьих глаз. Жизнь в громадном зверином теле отступала в ярости, в неутолённой мести.

Барсар осмотрел чудище лесное. Зверь был опушен дивным мехом — гривастым, пушистым, плотным. Такой мех охотникам награда. Однако Барсар на шкуру не позарился: даже мёртвая шкура нехорошего зверя излучает в человека зло.

Неподалёку смотрелся пробитый шурф — полутораметровый провал: геологи копались в поисках щебенки. Барсар сволок тяжелого зверя в заснеженную яму. «Сойдёт снег — закидаю землёю», — обещал он и укрыл яму еловым лапником от воронья.

* * *

К концу апреля снег быстро сошёл, но в лесу растеклись прозрачные лужи, земля хлопала под ногами. Барсар ходил в село за молоком. На обратном пути вознамерился было свернуть в сторону к заброшенному шурфу, чтобы закидать убитого волка землёю, но не стал портить свое настроение.

Через трое суток он пришёл к тому месту с лопатой. Громадина зверь еле вмещался в яму, оставленную геологами. Пришлось набрасывать объёмистый холм, чтобы надёжно скрыть этого редкого зверя.

На базе Барсар поставил лопату в сарае и внезапно заметил, как Динга долго, пришибленно и жалко нюхала лопату, налипшую на железо глину. С того дня что-то переменялось в ней. Динга перестала кормить щенков, и двое из троих быстро зачахли на коровьем молоке. Остался один — Рогдай, щенок крупный, башкастый, широкогрудый и широколапый. Он, едва продрал глаза, ел сырое мясо, потешно мурзаясь и никого к себе не подпуская. Щенок с ходу напоминал громадину волка, однако узко поставленные уши подтверждали в нём половинную долю собачьей крови.

Тем временем Динга стала худеть, тосковать, и в беспокойстве за собаку Барсар открыл вольер, чтобы дать ей свободу.

В первый день Динга помыкалась вокруг, но потом вдруг стала исчезать без видимой на то причины. Однажды псина сбежала с базы в ночь. Из дальней дали послышался её тоскливый и протяжный вой. Барсар вышел из дома ближе к свету. Щенок Рогдай сердито тявкнул два раза в сенном сарае и снова улёгся спать. Определив направление, Барсар пошёл по той тропе, где зимою на базу приходил к своей семье отец-волк.

Восток только обозначился широким серым пятном, тропа темнела, сапоги мягко и неслышно ступали по оттаявшей земле. За полкилометра до волчьего захоронения Барсар почувствовал тревогу и лёгкий озноб. Он сбавил шаг и пошёл напяржённый. Метров за двести до волчьей могилы его взгляд задержала возникшая впереди густая тень. Нечто расплывчатое поднялось в лесном просвете над землёю, плавно всклубилось и, постепенно сливаясь в серое облако, обрело звериный силуэт. Прозрачный серый пар оформился в очертания громадного волка. Облако плавно расширялось, поднималось всё выше и выше, пока не выросло величиною с двухэтажный дом. На минуту — не больше — видение задержалось и стало постепенно ниспадать, уменьшаться и бесформенно хлынувшим потоком ушло в землю без звука и следа. Душа волка явилась и канула в землю с приближением рассвета.

У волчьего захоронения Барсар нашёл Дингу. Собака замертво лежала на холмике, раскинув передние лапы и вытянув голову меж лап. Глаза её были прикрыты и крепко сжата пасть. Барсар похоронил её рядом. С тех пор тень волка никогда не поднималась над лесом.

Валерий Секованов

ШАХМАТНАЯ ПАРТИЯ

Работник планового отдела фирмы «ОЗОН» Василий Иванович Куртозин очень любил шахматную игру. Он не имел разряда по шахматам, но к игре пристрастился ещё во время службы в армии и всех сослуживцев, как говорится, обставлял. Шахматы приносили ему не только удовольствие, но и халявную выпивку: Куртозин многократно выигрывал у противников «на спор», а после работы пил пиво и водочку, поставленные проигравшим противником.

Программист Петр Гаврилович Некозин, разгромленный Куртозиным в пух и прах, однажды, хитро прищурив раско-

сые глазки, предложил Василию Ивановичу сыграть с ним партию, но при этом выдвинул условие: во время игры каждый партнер должен находиться в своем кабинете, а ходы передавать друг другу через ведущего Ивана Сидоровича Капустина, работающего инженером фирмы.

— Зачем находиться в разных помещениях? — удивился Куртозин.

— Опасаюсь гипноза, — зевая, ответил Некозин.

— Какого еще гипноза?

— Гипноза противника, сударь! Когда сажусь напротив вас, у меня начинает сосать под ложечкой и дергается левая бровь.

Василий Иванович громко захохотал, лицо его покраснело, на глазах обозначились слезы. Петр Гаврилович стоял напротив, переминялся с ноги на ногу, словно боялся, что ботинки приклеятся к паркету.

— Валяй, коль я гипнотизер! — вытирая слезы, сказал Куртозин. — А Капустин согласен?

— Я договорился. Завтра после работы, если не возражаете?

— Годится! Только проигравший ставит бутылочку армянского коньяка.

— Хорошо.

Поговорив еще немного, они расстались.

Весь следующий день Василий Иванович с нетерпением ждал окончания работы, мечтая о пятизвездочном коньяке.

После рабочего дня стали играть. Петр Гаврилович попросил в свое распоряжение черные фигуры. Куртозин не стал возражать, небрежно сел на стул и сделал первый привычный ход королевской пешкой. Капустин записал ход, поспешно вышел. Через минуту он вернулся, передал ход, сделанный Некозиным. Минут двадцать Капустин бегал из кабинета в кабинет, громко хлопая дверями, передавал ходы противникам. Лицо его заиграло румянцем, на спине обозначилась мокрая сорочка. Партия развивалась стремительно. Только на пятнадцатом ходе Василий Иванович вдруг обнаружил, что проигрывает пешку, а потому призадумался. Тяжело дыша, Капустин замер около стола навтыжку. Куртозин жестом руки указал ему на рядом стоящий стул. «Как же так? Обычно к пятнадцатому ходу я имел преимущество. Где же Некозин так навестрился?» Подумав минут пять, Василий Иванович передал Капустину очередной ход. Теперь Куртозин не спешил с ответом. Когда Капустин с сияющим лицом принес ответный двадцатый ход противника, Василий Иванович обхватил голову руками, поскольку нависла угроза потери качества.

Позиция перерешла в эндшпиль, неблагоприятный для

Куртозина. Проходная пешка противника через несколько ходов готовилась превратиться в ферзя. Куртозин надолго задумался, а Капустин терпеливо сидел напротив и ждал ответного хода, на лице его застыла ухмылка. «Злорадствует!» — подумал про себя Куртозин. Не найдя защиты от неминуемого проигрыша, Василий Иванович со стуком положил своего короля на центр доски.

Капустин сорвался с места, громко хлопнув дверью, побежал передавать радостное известие. «Не позвал ли кого Некозин на помощь со стороны?» — пронзила сознание Василия Ивановича неожиданная мысль. Он вскочил со стула и ринулся в кабинет противника. Когда распахнул дверь, остановился у порога, зорко оглядел комнату. Капустин и Некозин, как ни в чем не бывало, сидели за шахматным столиком и уже играли блицтурнир, громко шелкая кнопками шахматных часов.

Куртозин обошел комнату, открыл шкаф, куда вешали сотрудники фирмы верхнюю одежду, откинул шторы, даже заглянул под массивный стол. Не найдя незримого противника, подошел к шахматному столику, вытирая пот, сказал:

— Предлагаю еще партию!

Некозин остановил шахматные часы, глянул партнеру в глаза; когда их взгляды встретились, чуть улыбнувшись, кивнул. Куртозин вернулся в свой кабинет, быстро расставил шахматы: началась вторая партия. Как ни старался Василий Иванович продумывать ходы, как ни ухитрялся поймать противника в ловушку — напрасно. Некозин отражал все угрозы, а на восемнадцатом ходу неожиданно пожертвовал за пешку слона, взятие которого грозило неприятельскому королю прямой матовой атакой. Василий Иванович отклонил жертву, уйдя, как говорят шахматисты, в глухую защиту. Через четыре хода он потерял вторую пешку и вскоре сдал партию.

Первый тост пришлось произносить Куртозину за здоровье победителя. Краешком глаза он наблюдал за ухмылками Капустина и Некозина. На мгновение Василию Ивановичу показалось, что они злорадствуют и насмехаются над ним. Заикаясь, Куртозин пожелал победителю долгих лет жизни и творческих успехов, но про себя подумал: «Погоди, братец! В следующей партии я накручу тебе хвоста!» Потревоженное самолюбие не давало Василию Ивановичу покоя.

Коньяк, выбранный Некозиным, показался Василию Ивановичу сильно пахнущим клопами. После выпитой стопочки он искоса поглядел на недавнего противника, поморщился. Некозин подмигнул Капустину, весело кувырнул стопочку и зажмурил от наступившего удовольствия раскосые глазки.

Стали собираться по домам уже за полночь. Договорились,

что сыграют еще в шахматикши на коньяк через неделю. Куртозин хотел отыгаться немедленно, завтра, но с ужасом вспомнил, что у него кончились деньги.

На следующий день Василий Иванович стал активно решать финансовый вопрос. Он подрядился выполнить курсовую работу студенту экономического факультета и пообещал помочь ему написать дипломный проект, от чего раньше открещивался, считал это занятие унижительным. Задетое самолюбие породило злость на себя за то, что так бездарно проиграл две партии кряду, на противника, умудрившегося его обставить, на Капустина, который быстро носился из кабинета в кабинет. Накопившаяся злость разожгла в сознании Куртозина огонь мщения.

В назначенное время они опять сели за шахматную партию. Но прежде чем начать партию, Василий Иванович зашел в кабинет противника, отключил и забрал с собой телефон, на пороге остановился, потом вернулся, похлопывая по карманам, и спросил:

— Мобильника нет?

— Разве я способен на такое?! — ответил Некозин.

— Доверяй, но проверяй, — подозрительно глянув на противника, уже на ходу сказал Куртозин.

Как ни старался Василий Иванович взять матч-реванш, у него ничего не получилось: через полтора часа он сдал партию.

В кафе, когда распивали очередную бутылочку коньяка, договорились сыграть опять через неделю.

Придя домой, расстроенный Куртозин долго не мог уснуть, размышлял: «Почему так изменилась игра Некозина? Почему он не хочет играть в одной комнате?»

Утром, как только зазвенел будильник, вскочил с кровати, на пути в ванную подумал: «Может, Капустин помогает Некозину?» Василий Иванович, прежде чем умыться, глянул в зеркало и не узнал себя: лицо осунулось, под глазами обозначились отливающие синевой мешки. «Капустин не страшен, он проигрывал мне сотни раз. Все же надо подыскать своего ссунданта».

На работе он уговорил приятеля заменить Капустина, надоевшего подозрительной беготней из кабинета в кабинет, слащаво ухмыляющегося при передаче хода противника, и сообщил об этом Некозину. Тот, выслушав просьбу, болезненно поморщился, сослался на недомогание. Через три дня Куртозин повторил просьбу, на что последовал очередной отказ. Теперь уже Некозин ссылался на занятость, обусловленную якобы подготовкой его отдела к серьезной проверке.

Придя домой, Василий Иванович вспомнил, что, когда он

отключал телефон, задел монитор и почувствовал: тыльная сторона его оказалась теплой. «Зачем Некозин включал компьютер?!» — неожиданная мысль обожгла сознание Куртозина.

Василий Иванович решил поменять тактику переговоров. Он чувствовал обман со стороны противника, даже был убежден в этом, а потому, наметив решительные действия, дал себе слово разоблачить обидчика любой ценой. «Кто же помогает Некозину?!» Недели через три при встрече с Капустиным Куртозин предложил возобновить игру на условиях, выдвинутых Некозиным, но с поправкой: за партию ставка составит не одну бутылку, как раньше, а двадцать. Ответ не заставил себя долго ждать. Вскоре Некозин зашел к нему в кабинет и попросил сигарету. Прежде чем попрощаться, слащаво улыбнувшись, спросил:

— Когда сыграем?

— Завтра! — сдерживая волнение, ответил Куртозин. — Ставка двадцать бутылок армянского коньяка за каждую партию!

— Превосходно!

На следующий день, как только закончилась работа, они начали игру. Куртозин подолгу обдумывал ходы и передавал их Капустину не спеша. Он улыбался, показывая всем видом, что играет партию с удовольствием и не боится проигрыша. Капустин, как всегда, был доброжелателен и учтив. Передав очередной ход, Куртозин подождал, когда Капустин удалится. Услышав, как хлопнула дверь в кабинет противника, Василий Иванович сорвался с места. «Только бы не столкнуться с Капустиным в коридоре!» — прошептал на бегу. Подбежав к кабинету Некозина, Куртозин осторожно приоткрыл дверь, заглянул в комнату. Увиденная картина потрясла Василия Ивановича: Некозин сидел за компьютером, на мониторе которого изображалась шахматная партия, записал что-то на бумаге и передал листок Капустину. Тот быстро глянул на запись и, передвинув фигуру на шахматной доске, потер от удовольствия руки. Они так увлеклись, что не заметили приоткрытую дверь. Василий Иванович опрометью бросился назад, запыхавшись, прибежал в кабинет, сделал глубокий вдох и грохнулся в кресло. Мысли одна за другой, словно пчелиный рой, врвались в его сознание. До глубины души Куртозин был возмущен мерзкими действиями сослуживцев и поклялся отомстить обидчикам. Сначала он хотел вернуться и наказать обоим, но прикинув, что силы не равны, решил действовать хитрее.

Вскоре явился Капустин. Василий Иванович, поправив съехавшие на лоб волосы, задумался над очередным ходом.

Капустин присел рядом, с интересом глянул на шахматную доску. «Погодите, голубчики, скоро на моей улице будет праздник!» — записывая ход, подумал Куртозин.

Как только Капустин вышел, Василий Иванович молодецки вскочил с места, побежал к рубильнику, находящемуся недалеко от вахты. Под предлогом ремонта осветительных приборов в фирме командирским голосом приказал вахтерше отключить на час свет, строго предупредив вжавшуюся в кресло бабушку, что включение рубильника может привести к человеческим жертвам. Когда вахтерша, опомнившись, с готовностью кивнула, Куртозин отключил свет и, не говоря больше ни слова, бросился в свой кабинет.

Капустин появился нескоро, глаза его поблекли, лицо приняло оттенок, похожий на цвет силикатного кирпича. Он нетвердой походкой подошел к столу, где стояла шахматная партия, тяжело опустился на стул и дрожащей рукой передал Куртозину ход.

— Вам плохо? — встав с кресла, широко открыв глаза, словно лечащий врач, спросил Василий Иванович.

Капустин кивнул, скривив рот, предложил прервать партию.

— Вы только что прыгали из кабинета в кабинет, как молодой козлик.

— У меня разболелась голова, — сжав пальцами виски, пролепетал Капустин.

— Пройдет!

Куртозин достал из ящика анальгин, протянул ведущему игру, прерывать же партию категорически отказался, сославшись на то, что уговором прерывание уже начатой партии не предусмотрено, поэтому можно играть и при свечах.

Вскоре Куртозин выиграл сначала одну, потом вторую пешку. А через час к нему в кабинет явились и ведущий, и противник. Некозин, закатив к потолку глаза, заикаясь, признал свое поражение. Василий Иванович пытливым взглядом обоих, предложил сыграть еще партию:

— У меня есть пара свечей. Даю возможность отыграться! Двадцать бутылок армянского коньяка — не шутка...

Услышав предложение, Некозин сгорбился, руки его мелко затряслись. Сдерживая волнение, он прошепелявил:

— В следующий раз.

Куртозин вежливо улыбнулся. Он уливался наступившим моментом, особенно наслаждаясь тем, что обидчики стоят рядом навзятку. Он вспомнил все бессонные ночи и унижения, которые пришлось пережить, не спешил расставаться с обидчиками.

— Почему ваши последние ходы были такими глупыми? Не связано ли это с тем, что отключили свет и вы стали хуже видеть фигуры? — спросил Василий Иванович.

Некозин вздрогнул, молча пожал плечами. Он то и дело поглядывал на дверь, давая собеседнику понять, что разговор ему в тягость. Капустин же стоял, обхватив голову руками, и жмурился, словно от солнечных зайчиков.

— Выпьете коньячку, и боль как рукой снимет! — пообещал Куртозин.

Он не спеша встал, похлопал Капустина по плечу. Проходя мимо вахтерши, громко сказал:

— Включите рубильник — ремонт осветительных приборов закончен.

Ярко вспыхнули лампы. Шедшие впереди Некозин и Капустин остановились...

Вячеслав Арсентьев

ЯЩИК ПАНДОРЫ

Это было совсем давно, в моём далёком детстве. Но я хорошо помню, что было это летом, вечером. Сухим, теплым летним вечером. Почему-то мне в память особенно врезалось: совершенно чистое небо и дорога, раскалённая за день, пыльная-пыльная, а по краям её — жёлтая и тоже пыльная рожь. Я на велосипеде, мать впереди несёт тяжёлую сумку с буханками хлеба, какими-то крупами и мороженой рыбой. Она устала, я это вижу, но взять сумку не могу, потому что только что мы с ней поссорились. Мне очень жаль мать, до слез жалко, хочется ей помочь, ведь я за тем и прискал, чтобы увести эту тяжёлую сумку, а забрать её не могу, потому что обидел мать, накричал на неё, отпихнул сумку еще у магазина: что-то она сказала или сделала то, что мне не понравилось. И потому, что я её обидел и что страдаю от этого, мне хочется обидеть её ещё сильнее. Не понимаю почему. Я подъезжаю к ней, говорю грубости, задеваю колесом сумку, мешая идти... Потом я уехал, оставив мать, бросил велосипед у ограды дома, убежал в лес и долго и горько плакал.

* * *

Была компания, было вино, и была она. Всем было весело и хорошо, особенно ей. Такой весёлой, такой непосредственной, такой счастливой я ее еще никогда не видел. Мы станцевали в последний раз. Друзья распрощались и ушли, а она стала собираться и попросила, чтобы я ее проводил.

Но мне вдруг захотелось, чтобы она осталась, хотя бы ненадолго, хотя бы на полчаса. Мне хотелось её видеть рядом одну, сказать что-то необыкновенное, выразить словами ей то, что у меня неясно бродило в голове и наплывало на сердце. И совсем немного нужно мне было. Полчаса, всего лишь каких-то полчаса! Я пошел в соседнюю комнату к магнитофону и включил легкую музыку. Когда вернулся, она стояла уже одетой.

— Подожди немного, — сказал я и поцеловал её.

— Нет, идти надо, уже поздно, — грустно ответила она.

И в эту минуту она была великолепна! Не вино во мне сделало её такой: она действительно была в эту минуту хороша в короткой заячьей шубке, меховой шапочке, уши которой завязывались под подбородком, с двумя смешными помпончиками на толстой нитке, чёрной прядью непослушных волос, выпавших на лоб, с узенькими темными бровями над большими наивными глазами.

— Совсем немного, и сними шубку.

— Но уже поздно, — повторила она и грустно улыбнулась.

— Ничего, совсем немного, и выпьем, вино осталось!

— Только на минуту, — она присела на стул одетой. — Ты выпей, я не буду.

Я выпил большой стакан, потому что в одну секунду что-то во мне перевернулось, и уже не было на душе этой необъяснимой легкости и всеохватывающего ликования, и разом пропало желание говорить. Что она плохого сказала или сделала? Она оставалась той же, милой, с ласковым взглядом. Той же...

— Ты что такой нахмуренный? — спросила она, когда мы вышли под огромную мартовскую луну.

— Ничего. Так. — У меня всегда лишнее выпитое усиливает раздражение.

Нет, что она такого особенного сделала или сказала?

Ну что? Что? Почему у меня разом испортилось настроение? Она должна была выпить со мной?

Совсем мне не того хотелось. Чтобы осталась? Да нет же, нет! Не это совсем! А что? Ну что же?!

— Помнишь, у Чехова есть рассказ «Тоска». Там извозчик Иона пытается о своей горе пассажирам поведать. А его, — я начал говорить громко, с нескрываемым раздражением, — скоты бездушные, ослы длинноухие не слушают! Понимаешь, им, этим животным, до Ионы дела нет!

— А к чему ты про Иону? — спросила она и взяла меня за руку.

— А к тому, что ты — дура!

Это получилось само собой, ничего подобного я говорить не собирался.

— Что?! — она растерянно посмотрела на меня и выпустила руку. — Ну и не провожай дуру, умный!

Её голос дрогнул. Дрогнул! Я вдруг ясно почувствовал, осознал, понял, что обидел ее, обидел человека, ближе которого для меня не было никого на свете. Зачем так? Да и почему? Мне её нестерпимо жалко стало. Но уже потому, что только что её обидел, я не мог просто поцеловать её и сказать: «Прости! Случайно это... вырвалось!» Не мог, тем более не мог сказать: «Прости!» Какие тут извинения! Это кто-то другой может обидеть и тут же попросить извинения: ему все равно. Я не мог. Я сделал другое:

— Ну и катись одна. Такая же ослица, только уши подлиннее! Ах, идти надо, ах, поздно! Вали, вали и ищи осла, каралева неприступная.

Мне стало горько нестерпимо.

— Знаешь, знаешь! После этого!.. — в ее голосе стояли слезы, и в больших темных глазах стояли слезы. Она почти побежала вперед.

— Подожди! — я догнал и схватил за руку. — Я все-таки провожу тебя, дуру, чтобы волки дорогой этакое сокровище не задрали.

И я потащил её грубо, как тащит пьяный мужик бабу, и говорил с наглостью распоясавшегося мастерового то, что никогда бы не сказал последнему подзаборнику.

Я её любил, и любил искренне и глубоко, так, как можно любить только раз в этой земной жизни. И смешивал в себе самое прекрасное с грязью, и над собой изгалялся пострашнее средневековой инквизиции, и платил...

И теперь, годы спустя, мартовская луна все так же огромна и светла, и всё так же бело под нею тихое и одинокое поле, и тёмный и таинственный лес на краю его. Все так же. Только нет на деревенской промерзшей дороге меня и плачущей восемнадцатилетней девочки в заячьей шубке и меховой шапочке со смешными помпончиками...

* * *

Я помню мать теплой летней ночью. Даже помню запах ее рук. Они пахли парным молоком и еще чем-то, родным-родным.

— Что, дурашка, где пропадал-то?

Я пил молоко прямо из кринки, сидя за столом в кути уже уснувшего дома, и исподлобья смотрел на мать. Именно исподлобья, насупившись и всё еще как будто обижаясь на кого-то. Я любил мать бесконечно и сделал бы для неё тогда что угодно. Но мать ни о чем не просила и даже не упрекала. Она сидела рядом и вздыхала.

Прощения я у неё не попросил.

Было это в детстве. Летом, теплым, сухим летом, которое не может повториться никогда.

Павел Румянцев

ПОКА МУЖ В КОМАНДИРОВКЕ

Юмористический рассказ

Муж уехал в командировку, а жена осталась дома. Она легла на диван, открыла любовный роман и погрузилась в чтение, радуясь тишине и покою.

«Серж обнял Кэт, его рука скользнула...»

Раздался звонок.

Тяжело вздохнув, Екатерина Ивановна встала и нехотя направилась к двери.

— Не одолжите ли соли? — улыбаясь и воровато оглядываясь, спросил сосед. — Я слышал, у вас муж уехал в командировку. Может, чаю попьем вместе?

— Чай... с солью?! Это извращение! — ответила Екатерина Ивановна. — Вот, возьмите всю пачку, потом отдадите.

— Спасибо! — ретировался сосед. Улыбка исчезла с его лица. «Эх, я — дурак! Надо было сахару одолжить!»

А Екатерина Ивановна бросилась к дивану, где ее ждала заветная книга.

«Серж обнял Кэт, его рука скользнула...»

В дверь снова позвонили.

— Хозяйка, я слышал, у вас муж уехал в командировку, а краны текут! — начал прямо с порога слесарь-сантехник, молодой приятный парень. — Надо бы починить.

— У меня этим делом муж занимается, — вежливо сказала Екатерина Ивановна.

— Но мужа нет, а я работаю качественно, профессионально! — загадочно улыбнулся сантехник.

— То-то вы к моей соседке Людмиле чуть ли не каждый

день ходите, — так же загадочно улыбаясь, ответила Екатерина Ивановна. — А мой муж, хоть и раз в неделю, но все делает исправно. В посторонней помощи не нуждаюсь.

С трудом выпроводив сантехника, Екатерина Ивановна вновь принялась за любовный роман.

«Серж обнял Кэт, его рука скользнула...»

Но куда скользнула рука Сержа, бедной женщине прочесть не удалось.

Пришел вежливый сослуживец: с цветами, тортом и бутылкой шампанского.

— Я слышал, у вас муж уехал в командировку, — смущаясь и краснея, произнес он. — Дай, думаю, зайду...

— Значит, так! — еле сдерживая себя, ответила Екатерина Ивановна. — Торт — детям, шампанское — теще, а цветы — жене!

Она закрыла дверь и в который раз принялась за чтение.

«Серж обнял Кэт, его рука скользнула...»

И тут раздался звонок.

«О Боже!» — воскликнула несчастная. Она вскочила с дивана, схватила в кухне скалку и отправилась открывать.

А это неожиданно вернулся из командировки муж.

АНОНС

«АЛМАЗНАЯ ПЯТЕРКА»

Костромские писатели Ольга Гуссаковская и Павел Румянцев написали киносценарий — увлекательный, приключенческий, на исторических фактах основанный. В сценарии показана Россия начала прошлого века: взаимоотношения и характеры помещиков, крестьян, капиталистов, чиновников, студентов, уголовников, интеллигенции, революционеров. Есть в нем и любовная история. Разветвленный сюжет написан в стиле классической русской литературы.

Среди горняков алмазных копей ходит поверье: очень редко, может, раз в тысячу лет, люди находят удивительную «алмазную пятерку» — пентакль. Пять совершенно одинаковых алмазов чистой воды в одном куске породы. Они могут быть не так уж и велики, но камни эти невыразимо прекрасны и притягательны. Потому цена им выше многих гигантов...

Россия. Начало XX века (1904 год).

Волею судеб в российскую северную глубину попадает авантюрист фон Ленау, опустившийся обрусевший немец.

Когда-то он работал на алмазных приисках в Африке, и в его руках оказалась «алмазная пятерка». Фон Ленау боится открыто продать свое сокровище и придумывает «хитрый план». Он убеждает разорившегося местного помещика Аленева, что на его земле в местечке Глыбищи находится выход алмазной трубки. На самом деле фон Ленау, рассчитывая на слабость российских законов, собирается под видом алмазодобычи легализовать свою «алмазную пятерку» и вернуть себе богатство, честь и славу. Однако «алмазная пятерка» ускользает из рук немца и начинает свои приключения в России: появляется то там, то здесь. Вокруг нее совершаются и чудеса, и преступления.

В ходе действия выясняется, что в местечке Глыбищи действительно находится алмазное месторождение, и лишь дальнейшие события в России помешали начать настоящую добычу алмазов. Все откладывается до лучших времен...

К сожалению, малые издательские возможности не позволяют опубликовать произведение полностью. Предлагаем вниманию читателей фрагменты из первой серии сценария.

* * *

(Слышатся голоса супругов Алениных. Фон Ленау подкрадывается и подслушивает.)

Аленев и Евлампия Ильинична.

АЛЕНЕВ (в руках у него конверт). Нам отказали в продлении залога на имение!

ЕВЛАМПИЯ ИЛЬИНИЧНА (равнодушно). Да?

АЛЕНЕВ. Очнитесь вы, Евлампия Ильинична, от ваших дурацких врачеваний! Мы разорены! Петербургский дом заложен! Сидоровское продано! У нас почти ничего не осталось! Одна Аленивка. И если залог не продлят — то все! Крах!

ЕВЛАМПИЯ ИЛЬИНИЧНА. А что вы на меня кричите, Петр Афанасьевич! Можно подумать, что это я, а не вы, прокутили все мое приданое. Веселитесь, покупайте моторы...

АЛЕНЕВ (более сдержано). Все-все... теперь не до моторов...

Надо что-то придумать... хотя бы возобновить кредиты...

ЕВЛАМПИЯ ИЛЬИНИЧНА. Кто вам поверит?

АЛЕНЕВ. Что делать? Что делать?

Фон Ленау под окном все слышит, загадочно улыбается, словно он знает, что делать.

Кабинет Аленина. Входит Ленау.

АЛЕНЕВ. Вот что, голубчик, ты мне больше не нужен. Отправляйся обратно в Нижний!

Фон ЛЕНАУ. Но, Петр Афанасьевич, как же так? Вы хотели научиться управлять мотором!

АЛЕНЕВ. Я передумал. Ступай!

Фон ЛЕНАУ. Значит, прогоняете?

АЛЕНЕВ. Да.

Фон ЛЕНАУ. Жаль... Мне у вас здесь понравилось... Ландшафт изумительный... Да и места у вас здесь богатые... (достаёт кимберлит с проблесками алмазов). Вот, нашел интересный камень... Хотел вам показать...

АЛЕНЕВ. И что? Мало ли камней на дорогах валяется!

Фон ЛЕНАУ. Это не простой камень, Петр Афанасьевич. Кимберлит. Алмазная порода! Когда я был в Африке, то научился различать их. Здесь должно где-то быть месторождение алмазов.

АЛЕНЕВ. Постой-постой! И где ты, говоришь, это нашел?

Фон ЛЕНАУ. В луже валялся... Должно быть, дождями или талой водой принесло.

АЛЕНЕВ. А ты уверен? Думаешь, на моей земле могут быть алмазы?

Фон ЛЕНАУ. Не знаю... По одной находке трудно судить, но... могу вам, Петр Афанасьевич, поискать здесь алмазы, я кое-чему обучен.

АЛЕНЕВ. А ведь это спасение! Немец, брат, дай я тебя расцелую! Ты не представляешь, как это кстати!

Фон ЛЕНАУ. Если кимберлит на поверхность выходит, то и затрат особых не надо...

АЛЕНЕВ. Ай, да замечательно! (Разглядывает камень.) А это что блещит?

Фон ЛЕНАУ. Знак! Крошечные алмазы! АЛЕНЕВ. Здорово!.. Неужели опять выкручусь?!

Фон ЛЕНАУ. О чем вы, Петр Афанасьевич?

АЛЕНЕВ. Не твоего ума дело! Оставайся!.. Мотор пока забрось, не до него... Займись поисками этого... ким...

Фон ЛЕНАУ. Кимберлита.

АЛЕНЕВ. Гм-м! На моей земле — алмазы! Кто бы мог подумать!

Немец стоит, не уходит.

АЛЕНЕВ. Ну, чего тебе?

Фон ЛЕНАУ. Я, пожалуй, в Нижний вернусь!

АЛЕНЕВ. Это еще почему? Я же сказал — оставайся! Ты в этих алмазах соображаешь, в Африке бывал, видел все: как добывать, что к чему... Найдешь, я тебе и денег заплачу!

Фон ЛЕНАУ. Воля ваша, но я не об деньгах хотел просить.

АЛЕНЕВ. А что еще?

Фон ЛЕНАУ. Не могу я, Петр Афанасьевич, на положе-

нии слуги оставаться! Люди потребуются для разработки, а кто меня послушает? К тому же, я ведь тоже из дворян. Майне фатер вар... из остзейских баронов!

АЛЕНЕВ. Гм-м!

Фон ЛЕНАУ. Так что я все-таки в Нижний вернусь... А специалиста по добыче алмазов вы себе из Англии выпишете...

АЛЕНЕВ. Да ты что, слурел! На это полгода уйдет! Ладно! Будь по-твоему, согласен! Только смотри у меня!

Фон ЛЕНАУ. Не беспокойтесь, Петр Афанасьевич!

Откланивается, уходит. Аленив самодовольно улыбается.

* * *

Обед в доме Аленивых.

Большой зал с претензией на роскошь. Дорогие обои, свисающие с кистями шторы. Несколько дверей, ручки в стиле «барокко», отделанные под золото. Красивая хрустальная люстра. По середине зала — огромный стол. Вокруг хлопочут слуги. Все одеты просто, по-деревенски, кроме одного старого слуги Степана. Он степенно расхаживает и следит за сервировкой стола. Прислуга раскладывает фарфоровую посуду, столовое серебро.

СТЕПАН (его речь проста, не сочетается с костюмом). Глашка! Манька! Куда несешь-то?! Туда ставь!.. А сюда еще один прибор и стул... Петр Афанасьевич велели-с... для немца ихнего... Эко чего надумали!.. Привечают, комнату с прислугой дали, теперь к обеду зовут... А какой он господин? Платья-то порядочного и то не имеет!.. Тыфу! Срамота на мою седую голову!

ПЕРВАЯ СЛУЖАНКА. А ндраву-то в ем, ндраву! Ходит гоголем, на нас не глядит...

ВТОРАЯ СЛУЖАНКА. Сам чудной, и зовут по-чудному... Ли... Лин...

ПЕРВАЯ СЛУЖАНКА. Да «Линялый» он! Ну есть «Линялый»!

Обе прыскают.

СТЕПАН. А ну, помолчите! Не вашего рабского ума дело! Марш на кухню!

Девушки, смеясь, убегают.

Обед. За столом Евлампия Ильинична, Петр Афанасьевич, Владимир. Слуга Степан стоит в стороне, он ждет, когда прикажут подавать блюда. Евлампия Ильинична разливает первое из супницы. Владимир в хорошем, веселом настроении, начинает есть.

ВЛАДИМИР. Ах, как я соскучился по домашней простой

лище! О-о, вкусно! Ушица-то аленьевская! Такой у Данона не подадут!

Аленев и Евлампия Ильинична молчат, чувствуется напряженность между ними.

Неожиданно входит фон Ленау. Он в потертом сюртуке, но видно, что пытался его почистить, аккуратность на ветхом костюме и обуви.

Фон ЛЕНАУ. Гуттен таг! Добрый день! Прошу прощения, что опоздал. Изучал окрестности. Ландшафт!

Проходит и садится на свободное место, он наверху блаженства! Пауза.

Владимир удивлен, что немец присутствует на семейном обеде, прекращает есть и вопрошающе смотрит на отца. Аленьеву неприятен взгляд сына, однако он твердо произносит.

АЛЕНЕВ. Я пригласил!

Владимир молча встает из-за стола и уходит.

Евлампия Ильинична нервно водит ложкой по тарелке. Слуга Степан с одобрением смотрит вслед Владимиру.

Фон ЛЕНАУ (нарочито уверенно). Ничего! Привыкнет!

Аленев напряжен, его бесит поведение немца, с трудом сдерживая себя, он спрашивает.

АЛЕНЕВ. Ну?! Нашел?!

Фон ЛЕНАУ. О, йа! Дорт...там за холмом, где большие камни... Точно...там будем искать!

АЛЕНЕВ. Смотри у меня!

Фон Ленау понял, что переиграл, становится прежним, угодливым.

Фон ЛЕНАУ. Не беспокойтесь, Петр Афанасьевич! Я свое дело знаю. Прикажете завтра рабочих послать... (И тут же высокомерно обращается к лакею.) Эй, что там у тебя? Положи!

Кабинет Аленьева. Очень строгий, но делалось все давно и кем-то другим. Книги в темных шкафах мертвы, а на удобном письменном столе горка трепанных желтых томиков Поль де Кока. Вот это читают сегодня...

Аленев в кресле. Владимир входит и останавливается, опершись на край стола.

Аленев молчит, вертя в руках безделушку. Он вообще человек мгновенных настроений, иногда взрывчатый, но чаще нерешительный.

ВЛАДИМИР. Так в чем же дело, отец, что происходит у нас в доме? Откуда взялся этот ловца удачи и за что ему такая честь? Объясни, будь добр!

Аленев бросает безделушку и начинает дергать пальцы.

АЛЕНЕВ. Владимир...Во...лодя! Дело в том, что мы разорены! Или...или почти...но это не меняет ничего!

Владимир отшатывается от стола, бледнеет.

ВЛАДИМИР. Разорены?! Мы?! Но... «аленьевские миллионы» деда, я только и слышал о них с детства?! Куда они делись? Столько... да просто невозможно было истратить при всех твоих причудах!

АЛЕНЕВ. Банк! Ты помнишь... все газеты о нем писали... Чудесный Орловско-Курский банк с огромными процентами! А у меня в Малороссии почему-то передохли австралийские мериносы... столько убытков! И... мне посоветовали, да, да, очень умные люди, вложить деньги в этот банк. Дело поправилось бы за год. А он... лопнул! И... вот! Аленьевка заложена тоже. Кредит нам не продлевают. Пойдет с торгов...Я уже говорил твоей матери... Ей все равно, не хочет слушать...лишь бы со своим «лечебником Бухана» возиться... Но ты-то должен понять!.. А этот немец... Он добывал алмазы в Южной Африке, знает дело... Так вот на Глыбницах, где разъезд, он обнаружил кимберлит, алмазную руду! Там миллионы, Владимир! (Оживляется, говорит вновь с увлечением, азартно.) Мы снова разбогатеет, встанем на ноги! (После паузы, спикая.) Но... я буду вынужден считаться с ним... Правда, Владимир, он не из простых... из остзейских баронов... И все же мне трудно, ох как трудно...

ВЛАДИМИР (осуждающе). Да...Тебе трудно! Действительно, нужно было много потратиться, чтобы довести наши дела до полного краха! Но ты это умеешь!.. Ах, как я понимаю теперь, почему тебя в семье звали «Анфан террибль» — ужасный ребенок! Ты им остался навсегда!.. Привел наш род к разорению...

АЛЕНЕВ (ему неприятно от слов сына, пытается защититься). Но все еще можно поправить!

ВЛАДИМИР. А...немец! Вот что: вели его позвать, я сам хочу с ним поговорить.

Аленев даже рад такой просьбе сына. Тут же звонит в колокольчик. Появляется Степан.

АЛЕНЕВ. Степан, позови немца!

Степан послушно кивает, закрывает дверь и почти тут же является Фон Ленау. Похоже, что он находился нарочно неподалеку. Вид его достаточно самоуверенный.

Фон ЛЕНАУ. Гуттен таг, майне херрен! Я догадываюсь: меня позвали не для пустых слов?

ВЛАДИМИР (не отвечая на приветствие). Это зависит от того, что скажите нам вы? Предупреждаю: я не так уж легковерен, как вам бы хотелось.

Фон ЛЕНАУ (тонко улыбается). О найн, нет! Я буду говорить очень серьезно. Рихтиг! Место, которое вы зовете Глыбищи, есть «горло» алмазной трубки. Выход очень древних пород... Вот образец, я нашел вчера!

Протягивает Владимиру кусок породы, где блестит дру- за горного хрусталя.

ВЛАДИМИР (пожимает плечами). Горный хрусталь! Да я сам сколько угодно таких «драгоценностей» находил на Глыбищах в детстве! И все деревенские ребята тоже.. Это же не алмазы!

Фон ЛЕНАУ (согласно кивает). Яволь! Абер.. вот, что идет следом за ними! Вы не обращали внимания, оно обычно не блестит... (Достает и показывает тот же кусок кимберлита с крошечной искоркой алмаза. Она вспыхивает в руках Владимира. Тот меняется в лице.)

ВЛАДИМИР. И...это тоже там, на Глыбищах?!

Фон ЛЕНАУ (доволен эффектом). Рихтиг! Безусловно! (Развивает произведенный успех.) Притом близко! Можно начать добычу открытым способом, я говорил вашему отцу...

Аленев согласно кивает головой. Владимир разглядывает кусок породы.

Фон ЛЕНАУ (тонко играя). А вообще... как повезет... Алмазы, так говорили в Африке, капризны, словно женщины. Их появление непредсказуемо... А что касается меня, я не навязываю свои услуги... Петр Афанасьевич сами попросили!

АЛЕНЕВ (подтверждает). Да!

Владимир побежден. Ему нечего возразить, он только, не замечая этого, нервно дергает плечом, наконец произносит.

ВЛАДИМИР. Ну... если так...

Аленев облегченно вздыхает и тянется за сигарой. Фон Ленау одновременно с ним бесцеремонно берет сигару тоже.

Фон ЛЕНАУ. Так вы распорядитесь насчет начала работ, Петр Афанасьевич! Смета — вот, битте! Я все просчитал, и это не есть дорого. Как это по-русски? Игра стоит свеч? Ну да... Лучше: стоит алмазов? Отлично! Хорошо сказано! Ауфвидерзеен, майне гнелиге херрен!

Фон Ленау уходит. После его бодрого ухода в комнате зависает тяжелое молчание. Аленев держит в руке сигару, забыв, зачем ее взял, а Владимир стоит, опустив плечи, с погасшим лицом. Впечатление, что он разом прожил лет пять... Он другой, и уже не станет прежним белоподкладочником...



ОЧЕРКИ СТАТЬИ РЕЦЕНЗИИ

Константин Абатуров

ИМЯ ТВОЕ

Взгляд

Память на имена у меня стала плохая. Встречусь с иным знакомым после некоторого перерыва: лицо, глаза, губы — все до последней морщинки знакомое, а как звать — убей, не помню. Досаду на себя. Он меня по имени и отчеству, а я отделяюсь местоимениями. Иногда спрашиваю: извини, как звать? Не каждый ответит с готовностью, вероятно, подумает: вот так друг любезный. А что делать, терплю. Некоторые же как будто ждут твоего вопроса, втихомолку посмеиваются. Сейчас, дескать, я верну тебе память.

Умел это делать один седоусый рыболов, человек в немалых годах. Приеду иногда в выходной с удочками на тихую Костромку — он уже тут как тут. Сидит, покуривая.

— Привет, коллега! — окликаю его.

— А, старина, здорово, здорово! — обернется на голос.

— Ключет?

— Помаленьку, — ответит, а сам вынимает из осочки чуть не полный сачок с живым серебром плотвы. — Садись рядом, да поговорим ладком.

— А где ваши удочки? Вижу только одну.

— На одну и ловлю, — кивает и бросает взгляд на мое снаряжение. — А у вас, гляжу, целый набор. Конечно, где мне угнаться за вами...

Смеется усач. Кто-то, а уж он-то хорошо знает, с какими грошовыми уловами возвращался я домой. Но это между прочим. Речь-то идет о памяти на имена.

Так вот, хотя мы по рыбалочным занятиям знали друг друга, но не ведали, как кого звать. Да в этом, казалось, и нужды не было, на рыбалке не до разговоров. Обменялся двумя-тремя фразами и сиди, поглядывая на поплавки, на спокойную ширь реки с ее крутыми зелеными берегами.

Но однажды в час «бесклевыя» мой напарник вдруг завел пространный разговор о именах и фамилиях. Занимал его один вопрос — все ли заслуженно носят громкие имена. Если не все, то что делать? Начал с себя. Свое имя смущало его.

— Львом нарекли, Львом Николаичем. Родители, конечно, не подумали, что такое имя носит сам Толстой. Такая знаменитость. А я кто? Простой рабочий, сын рабочего. Страшно подумать, под какую громкость попал.

— Ну, это напрасно вы себя оговариваете, — возражаю ему. — Ведь вы, надеюсь, ничем не запятнали имя своего великого тезки.

— Господи, да разве это можно? Тридцать пять годков проработал я на заводе, и все на одном, без малейшего упрека, по чистой совести. Ну и войну тоже прошел с начала до конца, и вернулся не только с глубокими ранами да переломами, а и с наградами. Берег дорогое имя. Но все же, все же... Да, смущает громкость. Я и друзьям своим говорю: зовите меня просто Лево́й. Так и вы зовите.

— Да почему? Бойтесь оступиться?

— Нет, за себя я ручаюсь. Боюсь за других. Время-то вон какое сумасшедшее. На ящик, то есть телевизор, лучше не глядеть, таких негодников показывают, беда. Поэтому я и говорю: не трогай, не марай великих, они, как отцы наши, как я полагаю, неповторимы. Занять имя легко, а испортить и того легче. Да, так я думаю о Толстом. Один он на весь мир честной, и подлаживаться к нему, называться его святым именем просто непорядочно. Носи свое и отвечай за него, какое от природы, повторяю — незаемное. Разве я не прав?

— Не совсем, — возразил ему. — По-моему, человека со светлой душой, с добрыми побуждениями только и сравнивать с людьми высокого долга и дарования. Более того, это как зов к человеку быть человечным, что вы своей жизнью и подтверждаете.

— Смотри, как подъехал, — засмеялся Лев Николаевич. —

А впрочем, насчет честности и открытости души вы правы. Каждый должен не в мрак глядеть, а на свет, на звезды.

Смотреть на свет, на звезды! Эх, если бы действительно это было девизом всех и каждого!

* * *

Спустя некоторое время Лев Николаевич уехал в госпиталь лечить свои старые раны, встречи наши нарушились. Но случай ненадолго свел меня с другим человеком лет тридцати, приехавшим на жительство в областной город из дальнего района, где он работал в какой-то конторе, пописывал стишки, или, как он называл, сатиру. Принес как-то мне показать свое творение. Почитай, просил, помоги продвинуть. Поэзии я не обнаружил в его стихах, была через край одна срифмованная ругань.

Все ему не нравилось, особенно наши люди. Только жалуются на свою долю и все ищут виноватых, клеймят новых демократов. Кивал на зарубежье. Вот там порядок, живут. Я имел неосторожность сказать, что вы бы, мол, и ехали туда. Ну, поднялся. «Это не ответ. Но ничего, — как бы погрозил, — я еще дождусь своего часа. Вы еще узнаете мое имя».

— Я и сейчас вижу по подписи: Гришан.

— Сейчас оно еще не звучит.

— Тогда приходите, когда зазвучит...

Прошло не так уж много времени, гляжу: заходил Гришан, задрал голову. У власти тогда засел крупнотелый, с мощными кулаками «реформатор», поклявшийся лечь на рельсы, если он не возродит Россию, не сотворит, понимаешь, рай на земле. К нему сбежались на поклон тенивики, спекулянты, вся приткая братия. Всем им нашлось место под его загребушим крылом. Оказался на пригреве и бойкий «ниспровергатель».

О, как он расхваливал режим своего кумира. Раз я встретился с ним на улице. Шел он, помахивая новеньким «дипломатом». В маленьких мышинного цвета глазах довольство. Я окликнул его, когда он хотел пройти мимо.

— Есть слово к тебе, Гришан (тут вспомнил его имя).

Как он задиристо взглянул на меня.

— Во-первых, я спешу, не задерживай. Во-вторых, никакой я не Гришан. Назовешь и именем президента!

— То есть?

— Не понял? Ну, то было не имя, а псевдоним. — Хлопнул меня по плечу. — Новизна должна быть во всем! Гуд бай! — повернулся и пошел дальше, убыстряя шаги; да, казалось, он и не шел, а плыл, как верткий, скользкий голец.

Ловок голец!

Но, видно, не все рассчитал. При следующей встрече (после предыдущей прошло около года) я назвал его уже именем президента.

— А-аа, — оскорбленно протянул он.

Оказывается, вытолкали его с теплого местечка (невелика шавка, есть побольше, покрупнее).

— Так что же, опять Гришаном называть?

Ответа не последовало.

Очень скоро его имя вовсе выпало из моей памяти. Что ж, голове легче. Да и сам президент с годами терял почву под собой. Россия-матушка, разворованная нечестивцами, катилась в пропасть. Рай хваленый правитель схлопотал только для себя, для семьи, для богатеев, которые становились еще богаче. Об этом уже открыто, с гневом заговорили в народе.

А «высокие» имена? Что стало с их носителями?

Как-то на автобусной остановке подсел ко мне средних лет человек. Поздоровался, назвав меня по имени и отчеству. Гляжу на него. Рослый, худой, лицо слегка вытянутое, черные брови переломились на выпуклой складке. Боже мой, да это, это... Нет, забыл, не вспомнить. Он усмехнулся.

— Не ломайте голову. Мое имя лучше не вспоминать. Запутанное, называть противно. — Оглянулся и тихо: — Борисом Николаичем зовут, как президента. Так это разве имя? Тьфу! Я ведь никакой не перебежчик. Обыкновенный рабочий, живу по совести. К чему мне чужое имя? Ездил недавно на Алтай к родственникам. Захотелось узнать, как у них дела, поговорить и о себе. Ну, там тоже раздраз, упадок, полно безработных. В деревне, правда, получше нашего. Мужики своих коровенок сохранили, овечек тоже. А это и молоко, и мясо. Но на фермах тоже ветер гуляет.

Он передохнул, потянулся за сигаретой, закурил. И снова:

— Мальчонка все глядел на меня и вдруг спросил: а тебя, дядя, верно, зовут, как президента? Отвечаю: да, верно. Хоть, мол, меняй свое имя, будь оно неладно. Ну, родственники на дыбы, ты-де с ума сошел. И не придумывай!

Услышав наш разговор, подходившие пассажиры заговорили с неожиданной горячностью.

— Пускай он сам, президент-то, меняет. Ему это и привычно. А ты, мил человек, свое имя береги. Твое имя праведное.

— Да, пускай он равняется на тебя, если захочет жить по-людски. Не все размахивать кулаками.

— Да где уж ему. Вся статья оставаться безымянным.

Подходили к остановке автобусы, но собравшиеся толпи-

лись, каждому хотелось сказать свое слово. Долго молчали, и пора эта, видимо, кончалась.

Имя! Громкое или не очень, но оно твое, и ты думай, как оправдаешь его, будешь в ладу с ним.

* * *

Нам ли не с кого брать пример честного служения Родине! Недавно мы отпраздновали 55-летие Победы в Великой Отечественной войне. Улицы и площади заполнили огромные колонны манифестантов. Прошли, как в былые времена, с красными патриотическими знаменами. В первых рядах — ветераны войны и труда, ярко горели на их груди Золотые Звезды, ордена и медали. Всенародная война была временем массового героизма.

Какие появились имена!

Боевые, трудовые, но не крикливые. Ведь человек славен не громкими словами. Наши люди, по преимуществу, тихого нрава. Достоинство их — самоотверженность в труде и борьбе.

Читаю книгу очерков нашего земляка Виктора Хохлова «Весенние ветры». Не могу оторваться! Перед глазами встает ярчайшая фигура сельского руководителя — председателя Сущевского колхоза имени 50-летия Октября Леонида Михайловича Малкова. Его жизнь — это подвиг во имя родной земли.

На фронте он был бесстрашным разведчиком, не раз приходилось глядеть смерти в глаза. И только тяжелые ранения вывели его из строя, казалось, навсегда. Домой вернулся с простреленными ногами и рукой.

Куда теперь? В правлении, куда он обратился за назначением на работу, ответ был один: отдыхай пока, понаберись сил, тебя же, Михайлыч, ветром качает.

— Да вы что? — взволновался фронтовик. — Давай дело!

Стояла сенокосная пора, а дела шли со спотычками — не хватало косильщиков. Леонид Михайлович, не мешкая, выехал на луга на конной косилке. Нашлась потом и другая работа. Любое дело спорилось у него в руках.

Вскоре Малков был избран заместителем председателя колхоза. Но сенокос все еще не давал ему покоя. Много было сметано стогов на острове Костромского моря. Но тут неожиданно-негаданно нагрянули ливни, море заштормило. Волны хлынули на остров, грозя все разнести. Леонид Михайлович собрал небольшую бригаду смельчаков и срочно отправился на спасение сена. На лодке перебрались на место и сразу принялись за работу, успели переменить все стога и поставить в безопасной зоне. Но на обратном пути лодку захлестнуло крутой вол-

ной, все оказались в kloкочущей прорве. До берега было далеко, не доплыть. Долго боролись со стихией, держались, пока не подспела помощь.

Малков назвал эту опасную поездку вторым боевым крещением.

О нем пошла слава: надежный организатор. Недаром же колхозники на своем отчетно-выборном собрании избрали его председателем. Работы было невпроворот. Развертывалось строительство животноводческого комплекса, строились новые дворы, коровники, кормоприготовительный цех, а также жилые дома. Все послевоенные годы колхоз шел в гору, стал крепким механизированным хозяйством с умелыми специалистами своего дела. Где самые высокие урожаи? В Сушеве, получавшем зерновых по тридцати и более центнеров с гектара. Где забелели, запенились молочные потоки? Вслед за Караваном и Саметью — в Сушеве, Яковлевском, Шунге... Где появились улицы новых жилых домов с водопроводами, с улучшенной планировкой? Да там же.

Послевоенные годы явились самыми плодотворными.

Сколько раз ставились мощному хозяйству подножки в «перестроечные» годы. Сам колхоз новые демагогии пытались расформировать. Председатель колхоза Малков, этот мужественный человек, раз и навсегда ответил:

— Пока я у руководства — колхоз будет жить! — На его широкой груди блеснула Золотая Звезда Героя Социалистического Труда.

Колхозники его поддерживали. Колхоз продолжал жить.

В одной из журнальных публикаций Виктор Хохлов приводит такой факт. Заболел председатель. Укатали коня крутые горки. Попросил Леонид Михайлович освободить его от руководства, сославшись в первую очередь на то, что есть кем заменить его — в колхозе выросли надежные работники. Бог ты мой, как загудело собрание, в один голос, с одной сердечной просьбой:

— Не уходи, Михайлыч! Не уходи!

Остался. До конца своей жизни выстоял на ответственном посту.

На похороны своего председателя пришла вся округа, приехали друзья-товарищи. Умер Леонид Михайлович Малков — осталось жить его доброе, честное имя.

Спасибо автору за хорошую книгу. Не могу не сказать доброго слова и о другой — о романе известного писателя Михаила Базанкова «Вольному воля». Корень-то один и тот же — деревенский, трудовой. Герой этого произведения обыкновенный крестьянский сын с простым русским именем — куз-

нец Тимофей Иванов. Он же и пахарь, он же и плотник, он же... словом, безотказный деревенский умелец. В труде, в работе он видел начало из начал, основу из основ жизни. И на войну уходил, как на работу, опасную, но неизбежную. Как же не браться за оружие, коль враг ворвался в твою отчизну, а значит — в твой дом? В жестких боях не раз был ранен, все тело у него в рубцах. А поправится, придет в себя — снова на передовую. Враг еще топчет твою землю, лютует. Значит, твоя работа, сержант Иванов, не окончена.

Вывела его из строя страшная контузия. Оглох, потерял память; забыл солдат, кто он, откуда явился, из какой области, деревни. Да и вопросы-то он не слышит — глухота. Кажется, на самом лице, в растерянном взгляде было написано: приговорен к небытию.

Госпиталь. Проходили дни за днями, недели за неделями борьбы врачей за его жизнь. «Приговоренный» со временем несколько оживился, стал слышать, кое-что говорить.

Пришел день, когда был установлен его адрес, и он в сопровождении медсестры отправился в свою Зоряну, где, как показали розыски, жил до войны.

Родная деревня, родной дом. Видит: за околицей зеленые просторы, вроде бы знакомые, бездымное небо. Тишина, слышится только приветливый звон жаворонка. Рядом — истрадавшая в тревожных ожиданиях заботливая жена Дуняша — мать пропавших без вести сыновей. Не дают ему скучать земляки, короткие разговоры, расспросы по крупницам восстанавливают в памяти былое.

С какой теплотой автор рисует первые шаги Тимофея Иванова, по-народному — Забытохи, его, если можно так сказать, второе рождение. Еще болят раны, не окреп, как хотелось бы, но он уже весь в работе. Мало осталось в Зоряне рабочих рук, а работы полно. Фронт ждет помощи. Себе откажи, а воинов не оставляй без хлеба и мяса, коней — без фуража. Мы видим Тимофея в поле и на лугах, с косой и вилами. Колхозное стадо осталось без пастуха — не отказывается он и от пастбы. Объявлена у соседа «помощь» в строительстве новой избы — вспомнил Тимофей о своем плотническом умельстве и первым застучал топором.

И самое главное. Открыл двери заброшенной кузницы. Погоревал. Потом надел оставшийся от отца опаленный фартук, поплевал на жесткие ладони и за молот. Долгожданный звон молота и наковальни раздался на всю округу.

Ох, не те уже силы у Тимофея, но надежда осталась, согрела душу святым желанием трудиться не покладая рук. Недаром, когда в праздник зоряне собрались за столом, когда

бригадир Хробостов, трудяга из трудяг, заметил, что раньше сорок пять мужиков садилось в застолье, стога метали тоже сорок пять, а теперь раз-два и обчелся, Тимофей и его друг Иван Поляков, тоже безотказный труженик, ответили:

— Да, теперь каждый из нас в большой ответственности. Сейчас, брат, стой, не качайся, чтобы другие могли опереться на тебя. Постоим еще, постоим! — заверили бригадира.

Трудолюбивыми людьми населена книга Михаила Базанкова. Мужчины и женщины, даже глубокие старики — все трудились на Победу. Я не беру в расчет таких, как хвастун Забродин, выдававший себя за бесстрашного фронтовика, тогда как сам во время атак убегал от опасности, а в тылу отлынивал от работы. Его Тимофей и называл не иначе как беглецом.

Книга «Вольному воля» большая, многоплановая, содержит много ярких картин, она ждет своего художественного исследования. Нам она дорога прежде всего тем, что высоко оценила трудовые доблести сельчан, среди которых ярко светится имя Тимофея Силантьевича Иванова, человека, не словившегося под тяжестью суровых испытаний. Это имя как открытие, как вдохновенный пример...

Николай Алёшин

ОСИП КУЗЬМИЧОВ И ДРУГИЕ

Свидетельствую прошлое

Осенью прошлого года исполнилось 100 лет со дня рождения писателя и художника Николая Павловича Алёшина, автора книг «Проня Девяткин», «В коротком рейсе», «Земляки», «Осеннее равноденствие», «На великом стоянии», многих очерков и житейских былей.

В ранний период творчества он печатался под псевдонимом Николай Некрасовец. Был принят в местную организацию РАППа. Учился в Ленинградском институте живописи, архитектуры, скульптуры. Участник Великой Отечественной войны. Работал сельским учителем, увлекался живописью, литературой. Были публикации в журналах и коллективных сборниках. Московские критики, журналисты, издатели называли его одним из старейших советских писателей, мастером самобытного художественного слова. Отдавая дань благодарной памяти доброму наставнику многих литераторов, публикуем отрывок из документального рассказа.

Взаимностью забот, ума и деятельности трудящихся молодого советского государства ломался хребет разрухи. Та же взаимосвязь установилась между городом и деревней по внедрению культуры в массы. Молодежь в заречных селениях часто устраивались спектакли и концерты. Гортеатр содействовал в подборе пьес, давал на прокат из запасов декорации, снабжал гримом. В Костроме составилась любительская опера. Певцы Горский и Розов давали бесплатные концерты за рекой... Из Слободы каждый вечер ходил в нашу деревню на спевки хорового кружка бывший регент Жуков. Изумлялся голосам братьев Бараковых. У Геннадия и Сергея был тенор, у Дмитрия баритон. Геннадия сам комиссар части упрасивал после гражданской войны поступить в консерваторию, но молодой парень стосковался по деревне и, возвратясь домой, уже не собрался съездить «опробовать» себя. Дух захватывало, когда братья Барановы пели «Дубинушку» и «В полном разгаре страда деревенская». Наш драмкружок не только ставил пьесы, им была подготовлена оперетта «Ворона на павьих перьях». Музыкальное сопровождение ее исполнял на баяне пятидесятилетний крестьянин Михаил Клемин. Он с мальчишек был одержим страстью к музыке. В солдатах состоял в духовом оркестре, после службы постоянно ездил из деревни на Нижегородскую ярмарку. В 1909 году сыграл там на бутылках для Максима Горького и Саввы Мамонтова «Ноченьку», и был одарен ассигнацией в двадцать пять рублей. За свою жизнь мне не однажды доводилось смотреть в театрах комедию Мольера «Лекарь поневоле», но роль Сганареля никому из актеров не удалась так, как Василию Кузьмичову в нашей деревне. Василий был прирожденный комик. В роще за озером наша молодежь пристроила крытую эстраду с лавочками для зрителей. Летом городскими артистами и любителями из других селений ставились спектакли, устраивались концерты. Зимой в школе читали лекции научные работники города. На антирелигиозный диспут приезжал из Москвы известный поборник атеистической пропаганды Логинов. «Обратите внимание, — говорил он присутствующим, указывая на своего соперника в споре, староверского попа Селенина. — Мы поменялись оружием: в его руках книги Маркса, Энгельса и Ленина, а в моих Библия, Евангелие и жития святых. Вы убедились, что ему не удалось подтасовать христианское учение под коммунизм, ибо то и другое идейно и жизненно несовместимы. И вот он, слышали, какой бросает нелепый козырь, заявив об опубликованной в Америке теории какого-то ученого о вращении Солнца вокруг Земли. Признаюсь, не слыхал о такой авантюрной те-

ории и о ее мнимом авторе. — И с улыбкой заявил Селенину: — Проникнитесь истиной из Писания: «Несть спасения во лжи».

Диспут благотворно взбудоражил умы населения нашей деревни и послужил толчком на необходимость переименовать ее. Незадолго перед тем жители Слободы тоже отказались от ее прежнего названия — Богословская Слобода, стали называть Трудовая Слобода. 23 августа 1924 года на окраине деревни, в избе-читальне, под которую была переоборудована кирпичная кладовая, наши деревенские почти навывгреб пришли на собрание по «назревшему» вопросу. Уполномоченный деревни Осип Кузьмичов перед открытием собрания коротко обмолвился:

— Товарищи! В прошлом году, как вам известно, в Кострому приезжал Демьян Бедный на открытие нашей крестьянской электростанции в Шунге. Я подошел к нему на лугу у реки, где электроплугом делали показательную вспашку. Сказал ему, что не раз писал в «Бедноту» про строительство станции. Он очень похвалил меня и спросил: «Откуда вы?» — «Из Святого» — «Проезжал через ваше Святое, с Богородицы снятое». — Вот как ошпарил. Так что давно бы нам надо переодеться, сменить рясу на пинжак.

Когда запал смех, для ведения собрания выбрали председателя и секретаря. Председателем — Артемия Попова, всегда бодрого и во всем собранного мужика, а секретарем — Дмитрием Баранова, работавшего бухгалтером в одном из городских учреждений. Первым взял слово Павел Густов, сотрудник городской милиции:

— Предлагаю дать деревне название — Пролетарская. Земли у нас мало. Если бы не приработки в городе, то всем бы нам впору корзину на руку. Мы больше пролетарии, чем собственники. Возбудить ходатайство об отказе от земли, чтобы приписаться к городу.

Поднялся гвалт: «А чем скотину кормить? Без лошадей не выкатаешь лес из реки. Земля не подкидыв, ее не бросишь. Его бабе лень картошку огребать да из хлева от коровы откидывать — вот и повело его в пролетариат. И сам он хозяйству не рачитель. Нынче в милиции-то не то что в прежней полиции: не бегай, не нюхри. Больше в кости играют...»

Председателю едва удалось унять недовольных. Встал с бревна Василий Бараков. Сперва обругался по привычке, потом сказал:

— Давайте без попреков. Не разодраться бы нам из-за этой перемены. Я не коснусь нашего положения: оставить, как оно есть. А деревню верней бы назвать Подгорная.

Опять не обошлось без возражений: «Оно бы ничего, кабы

не политический вывих: получается вроде придавлена городом. Да, да... не больно ладно...»

Поперхав и повздыхав, поднялся с бревна Иван Иванович Лялин, брат покойной бабушки Лампии. Он с сорока лет маскировался под старичка: ходил по легам в красной рубашке из домотканины и в таких же холстинных портах, только белых в красную полоску. Однако в церкви по воскресеньям всегда стоял наряднее других: в черной паре и в лакированных сапогах с отштампованной «гармошкой» на голенищах. На собрание он явился в обычном одесии: в тех же портах и красной рубашке, только не босой, а в подшитых валенках. Кашлянув в кулак, зарытый в черную с проседью бороду, он умильно произнес:

— У нас круг деревни пустынь да небо. Ничто ее не застит. Назовемте ее нейтрально: Светлая.

Он бесстрастно уселся под смех и восклицания собравшихся: «Вот так нейтрально! Своротил на то же Святое! Слово-то какое. Не с молитвой придумал, а у черта занял. Не заносить в протокол!»

Подача новых названий застопорилась. Казалось, собравшиеся ни к чему не придут. Но после изрядной паузы слово взял Осип Кузьмичов.

— Товарищи! Мы не должны забывать о прошлом. У нас теперь своя земля, а рядом наши фабрики, наши заводы, наши разные учреждения — двойной припент нам от того и другого. А ведь прежде город деревне ничего не давал. Наши деды и отцы жили только одной землей, перебивались с хлеба на воду. Больше работали на всяких захребетников. Никто так не писал о тяжелой крестьянской доле, как поэт Некрасов. Он открыто заявлял притеснителям: «Вынес достаточно русский народ!» И предвидел: «Вынесет все — и широкую, ясную грудью проложит дорогу себе!» Мы пробилась к новой жизни, за которую пером боролся Некрасов. Я предлагаю переименовать нашу деревню в честь великого поэта — Некрасовская.

Предложение Осипа точно всколыхнуло собравшихся. Враз раздалась возгласы одобрения: «Правильно! Ладнее не придумаешь! В самую точку! Кому из нас не дорог Некрасов! Ставь на голосование, чего тут!..»

Под воздействием единодушного мнения толпа пришла в движение, столпилась и скопом прихлынула к столу, словно примагниченная им. Однако председатель собрания Артемий Попов, как ни был возбужден сам, не нарушил порядка: каждое из предложенных названий ставил на голосование поочередно. Павел Густов и Василий Бараков оказались в единственном числе, когда голосовались предложения того и

другого. Иван Лялин смалодушничал, даже сам не поднял за «Светлая» руки. Но едва Артемий огласил: «Кто за то, чтобы деревню назвать Некрасовская?» — руки всех вскинулись, точно по команде.

— Вопрос исчерпан, — подытожил председатель.

Но никто не сдвинулся с места в невольном ожидании какой-то разрядки. Вдруг к столу протиснулся Геннадий Бараков, один из тех парней, что знают себе цену, не лезут в «заводилы», но умеют неотразимо воздействовать на других в нужный момент.

— А не спеть ли нам «Страду»? — с задорной улыбкой, густо покрасневшись в лице, обратился он к толпе.

— Даешь! — согласно, на один выдох кто-то выкрикнул за всех.

— Серега, давай сюда! — позвал Геннадий своего старшего брата и локтем толкнул Дмитрия, склонившегося над протоколом: — Вставай, потом допишешь!

Три брата плечом к плечу встали перед толпой. Чистый и звучный тенор Геннадия проникновенно вывел первые слова песни:

— «В пол-ном раз-га-ре стра-да де-ре-вен-ская...»

Все в напряженном молчании выждали продолжение запевки и мощно подхватили.

— «Доля ты рр-уус-ская!...»

Это «рр-уу» громово и стройно исторгнулось из многостой толпы: сказалась хоровая подготовка регента Жукова.

Дальние огуречники, потрафлявшие приехать в Кострому к вечеру, чтобы переночевать на подворье чайной и с утра пораньше занять на базаре выгодное место, остановили лошадей, в изумлении глядя с дороги на поющих. Иван Пегов заметил в цепочку спаявшиеся подводы и, опираясь на костыль, поспешно заковылял к огуречникам.

— Мужики! На мост не наезжайте навалом: вода убыла, его прогнуло, кабы не сломались подклады — тогда беда!

— Мы ничего, мы распустимся... воз за возом, — сказал рыбебородый хозяин первой подводы и спросил:

— Что у вас, праздник? Уж больно хорошо поют.

— Оно, пожалуй, вроде праздника: деревню переименовали в честь Некрасова.

— Да што ты! — воскликнул огуречник и обернулся к своим. — На вот! Как говорил: переименуем нашу Нееловку — так и не удосужились. Ведь Некрасов-то из нашей округи. На что бы подходяще назвать деревню в честь его. Теперь кусай локоть: зачурили. Вот что значит культурный народ...

Много лет минуло с той поры, многое изменилось. Изме-

нилась и деревня Некрасово. Прибавилось домов на выгоне за древней часовней. Изба-читальня на окраине. У школы — обелиск в память погибшим некрасовцам в Отечественной войне. Жизнь в ней сложилась на городской лад. Но она была по-своему ярка и содержательна в прошлом.

Алексей Базанков

ТОНКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Почти сто лет назад наш земляк Иван Касаткин, озабоченный становлением талантов, в разговорах часто жаловался на критику, которая плохо замечала одаренных выходцев из провинции и плохо учила эти таланты. А учить, по его словам, надо упорно, непрестанно, учить мастерству, бережному и чуткому отношению к искусству, страху и восторгу перед искусством, перед святостью его. Он замечает, что некоторые писатели при отсутствии критических оценок, заражаются вредным самомнением насчет своих творений, весьма серых и беспомощных, чтобы отразить такое богатство, такое цветистое и гулкое время.¹

Новые кадры принесли и новые взгляды на жизнь, историю, искусство, свежим ветром повеяло в провинции. Виднейшие русские мыслители, рассуждая о перспективе создания новой художественной интеллигенции, часто приходили к противоположным выводам. Вот, например, два мнения: писателя Замятина и философа Федотова.

«Я боюсь, что настоящей литературы у нас не будет, пока не перестанут смотреть на демос российский, как на ребенка, невинность которого надо оберегать, — рассуждал писатель. — Я боюсь, что настоящей литературы у нас не будет, пока мы не излечимся от какого-то нового католицизма, который не меньше старого опасается всякого рода еретического слова. А если неизлечима эта болезнь — я боюсь, что у русской литературы одно только будущее: ее прошлое». (1921г.)²

Подводя итоги 15-летнего правления большевистской партии, Федотов настаивал на факте образования (в период НЭПа) «тонкого слоя» новой интеллигенции, способной хотя бы отчасти поддержать высшие формы культуры. Он с сожалением констатировал, что «ликвидация НЭПа ликвидирует и этот поверхностный культурный слой», и все же считал: независимо от возраста интеллигентной среды наряду с теми, кто сумел разными способами снискать расположение «сталинок-

ратии», были и так называемые «благородные молчаливые», для которых опыт грозных лет не прошел даром. Не рискуя детально раскрывать качества новой открывшейся им духовности, Г.П.Федотов видел в них прямых продолжателей лучших традиций отечественной интеллигенции. Именно с ними связывал он надежды на духовное возрождение страны, поскольку был уверен, что под чудовищным прессом революции эта сдержанная и недоступная слову духовность нагнетается от волнения...³ И он был не одинок в подобных прогнозах.

Будущее России, по его мнению, уже связано не с тем поколением, которое было застигнуто войной 1914 г., а с тем, которое воспитано Октябрьской революцией. Далее он подчеркивал: «как ни резки бывают исторические разрывы революционных эпох, они не в силах уничтожить непрерывности. Вот почему, не мечтая о воскрешении начал XIX века, мы можем ожидать воскресения старых и даже древних пластов русской культуры. Октябрьское поколение непомнящих родства было бы бессильно что-либо создать, если бы и в нем также не жил гений народа».⁴

Новое, сменяя старое, усваивает и сохраняет в себе самые важные элементы прошлого как предтечи, истоки развития и познания. В двадцатых годах при общем революционаризме в атмосфере борьбы взглядов, мировоззрений не прерывалось усвоение, не исчезала передача социальных, нравственно-этических, культурных ценностей от поколения к поколению. В обществе, как и в природе, сохраняется связь между явлениями, событиями. Преемственность, как и наследственность, никаким политическим ветрам и циркулярам неподвластна. Она обеспечивает постоянство основополагающих форм жизни, лежит в основе эволюции живой природы, общественных процессов, развития искусства и культуры, долговременности традиций.

Анализируя формирование новой художественной интеллигенции в регионе, мы руководствовались сознанием того, что все имеет ценность для объективного понимания истории культуры. На наш взгляд, подлинная художественная интеллигенция спасалась не исключительным политическим опытом, а преемственностью и сочувствием непросвещенному народу, желанием помочь скорейшему переустройству жизни.

Местные, провинциальные, условия как бы сами собой обеспечивали эту преемственность, а художники, писатели, музыканты, театральные работники возрастали от народных истоков в неразрывной связи с жизнью. Творчество художественной интеллигенции в нашем регионе подтверждает такую преемственность. Теоретики формализма, считавшие, что но-

вое искусство не должно иметь корней, редко подавали свои голоса в провинции. В смысле преемственности и в двадцатые годы она оказалась последовательной. Сохранялось и национальное своеобразие литературы, искусства, реалистическое изображение жизни народа, его идеалов. Здесь, на земном уровне, и без особого опыта политической борьбы осознается, что народ — первый по времени, красоте и гениальности творчества философ и поэт. Давно замечено, чем чаще обращается художник к естественной жизни народа, выражает народные интересы, тем плодотворнее, убедительнее его искания, дольше сохраняется актуальность произведений.

В провинциальных условиях особое значение для преемственности имели личный опыт наиболее авторитетных художников, их эстетическая позиция, потому что они нередко были учителями, наставниками, организаторами студий, школ, мастерских. Как тут не вспомнить Шленна, Касаткина, Алешина, Иорданского, Захарова и многих других? В личном неформальном общении, совместной творческой работе, в процессе обучения, на выставках, в составлении театрального репертуара, в публикациях они в основном проповедовали соблюдение традиций, внимание к народному творчеству. Дискуссии, конференции, творческие вечера, выездные гастрели проходили по программам, которые в большинстве случаев составляли, рассматривали или утверждали авторитетные деятели культуры и искусства. На наш взгляд, именно таким представляется механизм передачи основных культурных ценностей новым поколениям художественной интеллигенции. Тормозили этот процесс чрезвычайная идеологизация творчества, положения партийной и государственной политики, настроения партийных руководителей.

Интересен в этом отношении диспут о будущем интеллигенции, прошедший в апреле 1924 года в Москве. Примечательно выступление на нем литературоведа П.Н.Сакулина, занимавшегося педагогической, научной и общественной деятельностью. Он выступал на диспуте о будущем интеллигенции в апреле 1924 года. Ученый подчеркивал, что «... одерживая победу, партия не могла ожидать и не могла требовать мгновенной перемены настроения в интеллигенции. Мне кажется, интеллигенция даже унизила бы свое достоинство, если бы сразу побежала за колесницей победителя. Психологически интеллигенция была на стороне революции, но ждала, какие условия сложатся для творческой работы».⁵

П.Н.Сакулин в своем выступлении напоминал о глубоком противоречии психологии научного творчества с идеологической и методологической диктатурой. «Из истории культурного

человека мы знаем, что внешнее давление на творческую мысль никогда не давало ожидаемых результатов». ⁶ Он приветствовал политику правительства, формулируемую словами о том, что надо действовать не принуждением, а убеждением.

«Это единственно правильный метод воздействия, когда речь идет о таких сложных проявлениях жизни, как научное и художественное творчество. Естественно, известная идеология стремится к господству и пользуется для этого всеми техническими возможностями. Но победить она должна не с помощью внешних принудительных средств, а в силу своего внутреннего превосходства. Нельзя брать монополию на истину. Ее нужно не декретировать, а развивать и пропагандировать».⁷

Тогда же в диспуте принял участие Н.И. Бухарин. «Мы допускаем свободу исследований в рамках нашего режима»,⁸ — заявил он. Идеолог партии признал, что в первое время после Октябрьской революции к большевикам пошла худшая часть интеллигенции, что большинство честной интеллигенции было против них. Бухарин подверг критике речь Сакулина за сменеховство. «Надо всем усвоить, — указывал Бухарин, — что те идеологи, которые думают, что коммунизм уступит, ошибаются. Никогда мы на это не пойдем! Мы от своих коммунистических целей не откажемся! Нам необходимо, чтобы кадры интеллигенции были натренированы идеологически на определенный манер. Да, мы будем штамповать интеллигентов, будем вырабатывать их, как на фабрике».⁹

На жесткой категоричности нельзя не задержать внимание. Именно в этих словах Бухарина сконцентрирована партийная позиция по вопросам формирования новой научной и художественной интеллигенции. Он утверждал, что если поставлена задача идти к коммунизму, то этой задачей надо пропитать все решительно.

«Тов. Сакулин говорит, что мы должны воспитать культурных людей. Но не просто культурных, а таких культурных, которые работали бы на коммунизм. Скажите, есть режим, который не ставил бы этой задачи? Где вы найдете учебное заведение высшее, среднее и низшее, которое не вырабатывало бы определенный кадровый состав? Таких стран и таких учебных заведений нет. Разница заключается в том, что мы других людей вырабатываем для того, чтобы устроить другой порядок».¹⁰

Процесс «вырабатывания-обрабатывания» шел по всем направлениям, дотягивался до самых дальних областей.

Провинция не всегда придерживалась собственных нравственных и эстетических правил. В исследуемый период провинциальные художники нередко творили под влиянием

авторитетов, дающих пример служения агитационными призывами «... и ты о разлуке не вой, а силы свои в работе удвой» (Маяковский. «Окна РОСТА», январь 1921). В провинцию приходили листки «Агит-РОСТА» с материалами для местных изданий — пример конкретного влияния и призывов. В 1923 году местные газеты перепечатавали стихи: «Еще одно долой», «На земле мир, во человецех благоволение», «Строки охальные про вакханалии пасхальные» и другие. В периодике Поволжья охотно печатались: М. Горький, А. Серафимович, С. Подъячев, Д. Бедный, С. Есенин, С. Городецкий. И многие другие мастера слова давали художественной интеллигенции примеры профессиональной работы.

Годы новой экономической политики были одним из самых противоречивых периодов советской истории. В конце уходящего века аналитики все чаще стали оценивать НЭП как политику социального компромисса, возможной, но не состоявшейся альтернативы общественного развития. Изменения социально-экономической жизни вели к изменениям культурного фундамента. Главной чертой нового типа культуры должно было стать развитие демократии, свободы творчества, был необходим художественный плюрализм, обеспечивающий простор для различных художественных методов, школ, стилевых течений. К сожалению, направление культурного развития выбирала не сама творческая интеллигенция, которая чутко реагировала на перемены и ждала их. Направляли этот процесс идеологическими установками партийные органы. По этой причине нарастали конфликты между культурой и властью — иногда глубоко скрытые, трагические. Курс на идейную гегемонию пролетариата и в художественном творчестве, идея перевоспитания мастеров культуры, выпавших не из пролетарской среды, и другие «установки» обостряли противоречие с настроением творческих работников. Культурный слой нового качества нарастал медленно.

В периодической печати того времени встречается много доброжелательных намерений, руководящих утверждений, речей и докладов, призывающих к массовому творчеству. «Искусство — высшая форма художественного творчества и от художников мы должны требовать специализации, мастерства, — отмечалось на I Всероссийском съезде пролетарских писателей в 1920 году. — Задача художника-специалиста — помочь организовать массовое художественное творчество». Тогда же подчеркивалось, что новые формы пролетарского искусства еще в зародыше, поэтому объединение пролетарских художников должно происходить по классово-идеологической линии, а не по художественным или общественным группировкам... «Со-

храня в полной мере идеологическую чистоту, необходимо стремиться к вовлечению в свою работу художников других общественных слоев, ассимилируя и подчиняя их идеологическому влиянию («Кузница» — 1920-21 — №7 — С.32-36).

Время поисков, дискуссий, категорических противостояний различных группировок. Теперь очевидно: «поисковые» дискуссии, затрагивающие творческие проблемы, имели и положительное значение. Именно тогда было единодушно признано ведущее место литературы в системе культуры, всех видов искусства. Представляется любопытным письмо А.М.Горького из Соренто нашему земляку Ивану Касаткину, уже тогда признанному талантливым «самородку». Алексей Максимович писал, что не считает себя «генералом от литературы» и не любит да и не умеет «влиять» на людей. «Человек для меня ценен сам по себе, и охоты перестраивать его на мой салтык — у меня нет». 24 июля 1925 года он советует писать больше, смелее, свободней. «Дело в том, что, на мой взгляд, художественная литература нигде не имела и долго не будет иметь такого всеобъемлющего значения, как у нас на Руси, в эти трудные и великие годы. Вот я, исходя из этой веры, и пристаю ко всем — пишите».¹¹

Исследователи подтверждают: двадцатые годы были золотым временем для пионеров советской художественной литературы и вообще для художественного творчества. Одаренные люди приходили из старого мира к возможностям самовыражения, участия в культурной жизни. Но для объективного понимания обстановки, в которой формировалось мировоззрение интеллигенции, необходимо учитывать не только дискуссии. Немало «дров» было наломано в жестокой борьбе, навязанной агрессивно-разрушительными деятелями. Пролеткультовская, напостовская политика забвения классического наследия, истории и культуры, проводимая новыми идеологами с помощью «слепых последователей» на местах, на некоторое время стала особенностью реформаторского процесса в государственном масштабе. Противостоять «пролеткультовцам», «напостовцам», «имажинистам» было небезопасно...

¹¹ См.: Касаткин И. Путь-дорога. — Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд-во, 1972. — С. 11.

¹² Замятин Е. * Я Боюсь // История России. Хрестоматия. — Екатеринбург, 1993. — С. 185.

¹³ См.: Федотов Г.П. Трагедия интеллигенции // О России и русской философской культуре. — М., 1990. — С.432.

¹⁴ Федотов Г.П. Трагедия интеллигенции. — Указ.изд. — С.432.

¹⁵ Сакулин П.Н. Всегда дороже всего была свобода. — В кн.: История России 1917-1940. Хрестоматия. Екатеринбург, 1993. — С.210.

¹⁶ Там же. — С.211.

¹⁷ Сакулин П.Н. Всегда дороже всего была свобода. — Указ.изд. — С.211.

¹⁸ Бухарин Н.И. Мы допускаем свободу исследований в рамках нашего режима. — Указ.изд. — С.213.

¹⁹ Там же.

²⁰ Там же. — С.212.

²¹ Переписка И. Касаткина с А.М.Горьким // Новый мир. 1937. №6. С.96.

Роман Семенов

КТО МОЖЕТ ДА ВМЕСИТ

К 70-летию И.А. Дедкова

Нашему поколению военных детей и подростков, к которому принадлежал и Игорь Александрович Дедков, можно сказать, повезло в жизни, сравнительно повезло. Страх коллективизации и 37-го года не пережили или не помнили, до фронта не доросли, но победное настроение, устремленность в завоеванное отцами и старшими братьями будущее испытали в полной мере («У меня нет ничего за душой, кроме будущего», — обмолвился студент МГУ И. Дедков, размышляя в своем дневнике о судьбах фронтовиков).

Да, у нашего поколения было будущее (прости, читатель, за невольный каламбур), и оно так или иначе состоялось. У И. А. Дедкова оно состоялось блестяще, хотя и не без драматизма. Теперь это будущее стало прошлым, но вопрос о будущем для следующих поколений, следующих студентов встал куда острее.

Этот вопрос из частного стал всеобщим, и, может быть, как раз поэтому частная собственность теперь не удовлетворяет многих и многих. Экзистенциальное выживание в одиночестве не есть ли один из худших и глупейших видов эгоизма? Ведь даже прямому потомству ваше богатство да и ваша слава не может обеспечить надежного будущего. Один может сказать: «Имею в кармане достаточно». Другой: «Ничего не имею за душой, кроме будущего». Вопрос: кто богаче?

На проходящих ежегодно чтениях памяти И. А. Дедкова было сказано немало добрых, высоких и уважительных слов со стороны гостей и костромичей в адрес рано ушедшего критика. Не нравится мне этот термин — критик. Критик-аналитик, критик — обслуживатель литературных школ и салонов, критик академического склада — все это как-то не подходит

к тому, что писал Дедков. В одну из первых встреч он меня спросил: «Вы тоже любите писать про книжки?» Про книжки... Не про книжки, конечно, а про людей, в них изображенных, про современников, про текущую яркую, но часто и тусклую жизнь — вот про что он писал. Он был как бы сописателем, не пересказывая и не цитируя длинно тексты, как это делали многие критики XIX века, а вплетая собственный жизненный опыт в описания авторов и рассуждения героев их произведений. Но без мировоззрения критика нет, а мировоззрение, определяемое одной лишь партийностью, — это либо узкость «образованца», либо блеф карьериста.

Каким все-таки было мировоззрение Игоря Дедкова? Еще раз повторяю: оно ясно прописано в его дневниках и, разумеется, в его книгах. Это не значит, что оно, мировоззрение, было во все годы однозначным, четким и прямым. «Я не верю, что есть герои, не знающие сомнений. Бывают люди, отшвыривающие сомнения от себя, потому что это неудобно и лишает покоя. Я же остался им, открыв все закоулки своего сознания: я задохнулся в те дни — мне не хватало веры — этой мягкой, неисчерпаемой кислородной подушки человечества». Так писал он в конце 50-х годов. Сомнения одолевали его, когда писал он под известным в те годы давлением начальства заявление в партию (запись 63-го года), и все это естественным образом отражалось и на его публикациях. И страдая от этой своей неоднозначности, в конце 64-го года он делает в дневнике очень характерную запись: «Наверное, Розанов и обо мне мог бы сказать: дайте ему в управление департамент, и он перестанет скучить. Что толку, если я скажу: неправда. Кто проверит мою правоту и как?»

Вседержитель услышал эти терзающие душу слова, и через... без малого тридцать лет жизнь проверила их искренность: вдова И.А. Дедкова Тамара Федоровна на чтениях в Костроме сообщила, что два раза в правительстве Е. Гайдара Дедкову предлагали пост министра культуры, и оба раза он отказывался.

В чем же корень сомнений Дедкова? Московские литературные круги ищут его в тех или иных политических пристрастиях критика. Да, как видно из дневников, сознание Дедкова было достаточно или, лучше сказать, чрезмерно политизировано. Тогда возникает вопрос, почему же это он при его способностях и человеческом обаянии не сделал серьезной политической карьеры. Иные современники в таких случаях указывали на прагматические причины: не тот характер, не склонен преувеличивать свои силы и возможности.

В данном случае дело обстоит иначе: не там ищут москов-

ские литераторы. Вопрос лучше прояснит тот же Розанов, цитируемый Дедковым по другому поводу: «Если «политика» и «политики» так страстно восстали против религии, поэзии, философии, то ведь давно надо было догадаться, что, значит, душа религии, поэзии и философии в равной степени враждебна политике и пылает против нее... Что же скрывать?» Так что причины сомнений и метаний Дедкова были скорее идеалистические, а не прагматические: вершина, к которой тянешься, должна быть чиста под небом голубым.

Отношение И. Дедкова к религиозным вопросам, по-видимому, сложное, как и у многих его современников. Однако мироощущение и миропонимание, мало сказать, вещь сложная — это задача не одного человека, а всего человечества: либо привитая с детства стойкая вера, либо бесконечные попытки умопостижения. Дедков равно симпатизировал и материалисту Герцену, и защитнику христианства Честертону. В дневниках его читаем «о постоянном присутствии в жизни неукротимой силы идеализма, противостоящей беззаконию, темноте, корысти, насилию» (79 г.). И тогда же: «Теперь у нас есть Библия... Читаю ее ежедневно с огромным удовольствием и интересом. Жалею, что так поздно читаю. И стыдно». Конечно, в более ранних записях мы можем найти у него и мысли, и стремления, мало совместимые с христианским отношением к миру, о нетерпимости в социальном плане да и в личном. В какой-то степени это сохранялось и позднее. Но его обычная деликатность и внимательность сродни человеку верующему. Находим у него и такую запись: «Читал в утешение Нагорную проповедь. «Истинно говорю вам: они уже получают награду свою». Хорошо бы, хорошо бы, если б было так. И я верю, что так» (76). В то же время Дедков не принимал в литературе «легкое» отношение к чудесам, к неопределенной мистике. «Я воспринимаю книгу прежде всего как факт жизни, если она действительно им является».

На пятых Дедковских чтениях вопросы идеологии и политики (которые почти всегда в кричащих противоречиях с нашей жизнью) сопровождали почти каждое выступление участников. Гражданский пафос, пронизавший сквозь литературное мероприятие, еще раз подтверждает неразрывную связь русской литературы с общественной жизнью. И.А. Дедков с самого начала не отгораживался, смотрел на жизнь не по отдельности сквозь призму художественной литературы или сквозь призму партийной идеологии, не пытался хитро приспособить одно к другому. Он скорее противопоставлял эти линии, хотя нужда заставляла на первых порах делать это с осторожностью. Дедков не отрывал литературу от государственного стро-

ительства, как это проповедует нам сейчас Запад и его поклонники, обвиняя советскую литературу в «ангажированности».

Дедков понимал, что «принципы» вырабатывать — не кулузуз внедрять. Примитивизм, ограниченность решений, исходящих от людей из политической сферы, не давали покоя человеку (и не только Дедкову), читавшему и Герцена, и Бердяева, и Честертона, и того же Розанова, читавшего Библию не по должности. Одно дело — руководство хозяйством, другое — «принципы». Но и перспективное руководство хозяйством и страной без принципов очень затруднительно. Вчера внедряли «принципы» в сознание каждой «кухарки», сегодня и вовсе без принципов существуем. Обвиняют иногда интеллигентов в этой исторической чехарде. Да не интеллигент виноват, а экстремисты и комбинаторы всех мастей да еще литературные снобы, бредящие модерном и сверхмодерном. Интеллигент — не модник и не фанатик идеи, интеллигент — человек душевный. Между «интеллигентом» и «интеллектуалом» большая разница, но у нас эти понятия путают. Ни на чтениях, ни до того никто не назвал И. Дедкова интеллектуалом, но о «настоящем интеллигенте» и говорилось, и подразумевалось. Люди-то все же разбираются в этой разнице. Интеллектуал нынче — это, как правило, горячий сторонник «научно-технического прогресса», но он не способен объяснить, отчего это народ при видимых успехах «прогресса» не выражает нынче ни удовлетворения, ни, тем более, восторга.

Мне все хочется отойти от этих гражданственных, политических — не знаю, как их обобщить, — «вопросов», но дневники Дедкова снова и снова меня к ним возвращают. Да ведь и сам он писал в них: «Возможно, лучший способ жить — не обращать внимания на всю политическую жизнь: пусть творят, что хотят» (79 г.). И сам писал о врачующей силе природы, простом человеческом движении, улыбке жены, писал с любовью очерк о посещении Щелыкова, о естественном шуме жизни в провинции и о тишине, необходимой человеку: «К счастью, и нарастающий рев моторов мало еще что может; тишина, как давно замечено, умеет срастаться, она могущественнее тарахтящей железной мелочи» («Пейзаж с домом и окрестностями»). И все же снова возвращался к «болящим точкам», не умея совсем «отключиться». В этом всегда заключалась сущность русского интеллигента, в отличие от западного писателя: он не может болеть только за себя и своих близких, только за свою непосредственную работу и заботу, он принимает к сердцу и все неурядицы в стране и государстве. Близкие люди, природа, простой народ — это и отдых души, но это и та сфера, которая подвергается «эрозии» в результате поспешной,

неперспективной политики. Вот за эту сферу и переживает думающий человек, ибо в ней, а не в отвлеченных идеях заключается главный смысл существования на Земле.

Игорь Дедков искал для себя малую родину, искал место душевной привязанности. Судьба его кидала из Смоленска в Среднюю Азию, оттуда в Москву, из Москвы в Кострому, где он и обосновался надолго.

Ему была необходима такая привязанность. Он убедительно повествует об этом в очерке-эссе «Пейзаж с домом и окрестностями».

Человеку как хлеб необходима эта родина, как хлеб для души она нужна. Иные рождаются и живут в миллионных мегаполисах. Но «пейзаж» и «окрестности» их «дома» другие, не те, о которых мечтал Игорь Дедков. Они нивелированы бурной деятельностью обезумевшего от «все возрастающих потребностей» человека. Господи! Да ведь еще Гоголь в «Невском проспекте» живо описал всю тщету этих усилий: выпоротый поручик Пирогов и зарезавшийся художник Пискарев. Вот и все! П.А. Флоренский предупреждал о страшном вреде «иллюзионизма». Но «болезнь» эта остается самой распространенной в мире. «Москва стоила того, чтобы сбежать от нее». Это об эпохе А.Н. Островского в том же очерке Дедкова. А вот собственные его впечатления: «Хотелось бы думать, что поездка не сильно омрачит мою душу, как это часто бывает в Москве...», «Из Москвы хорошо возвращаться: там чужое мне...» (78 г.), «Столичный уровень» — все это чепуха. Есть уровень людей» (80 г.).

Нет у меня желания «привязать» напрочь имя Дедкова к Костроме, хотя здесь, несомненно, его помнят. Дедков, в отличие от некоторых «собратьев по перу», никак не мог «спутать Кустанай с Калугой». Он любил провинцию и прекрасно понимал ее государственное, историческое значение. Он напоминал в «Пейзаже» мнение Ивана Аксакова об «охранительной силе», об «охранительном упоре» провинции. Он много писал о деревенской прозе, хотя было у него желание расширить этот термин до понятия «провинциальной прозы» (С этим я не мог соглашаться: сущность явления менялась).

Что у И.А. Дедкова жизнь сложилась весьма драматичной — доказывать не надо. Хотя я вновь возвращаюсь к мысли, что наше поколение оказалось более везучим в судьбе, чем предыдущее и последующее. Игорь Дедков исполнил свой «прогноз», хотя ушел рановато. Но в чем все-таки главная драма его жизни? В попытке дать свой ответ на это прибегну снова к другому земляку, проницательнейшему Василию Розанову: «Смотрите, злодеяния льются, как свободная песнь; а добродетельная жизнь тянется, как панихида. Отчего это?

Отчего такой ужас?» И еще: «Порок живописен, а добродетель так тускла. Что же все это за ужасы?!» Розановские «ужасы» предполагаются, и на «отчего это?» ясного ответа нет. И бьемся мы над этим ответом, как бился и Игорь Александрович Дедков. Только, может быть, с большим, чем у нас, чувством меры и такта бился он, чувствительный к жизни и талантливый в этой жизни человек.

Алексей Зябликов

ПО ДОРОГЕ В «ЧЕТВЕРТЫЙ КАРФАГЕН»

Имя костромского поэта Евгения Разумова хорошо известно любителям поэзии. Это при том, что Евгений — человек несуетный, нетусовочный: крайне редки его творческие вечера, он не устраивает презентаций своих книг, хотя имеет их больше, нежели другие костромские авторы. Выход новой книги поэта «Четвертый Карфаген» подтверждает, что Евгений Разумов — явление в литературе не случайное.

Перед нами четыре книги поэта, четыре его «града», последний из которых носит гордое имя канувшей в лету могучей метрополии. Даже по названиям мы можем судить о среде обитания поэта, о стихиях, его волнующих. «Летучая ладья» — стремление вкушать восторг полета, «Глаза небес» — попытка зацепиться за небесную твердь, проба на ощупь перины Бога, «Прудные холсты» — словно заботливо разостланные на земле ориентиры для совершающего посадку воздушного судна, «Четвертый Карфаген» — погружение в преисподнюю мировой истории и новая попытка подняться в небеса на аэростате с гондолой из древнего ливанского кедра.

«Летучая ладья» (1986) — название, пробуждающее ассоциации с русским фольклором, с летучим кораблем — воплощенной мечтой подняться над землею, но не из неприятия ее мерзостей и сует, а из желания лучше обозреть ее красоты. Летучая ладья — образ небесной стихии, но полный удивления взгляд лирического героя устремлен пока не вверх, а вниз, в «границы российского поля». Полет ладьи осознанно низкий, бредущий — она задевает килем «марсианские лопухи» российской глубинки, ветку, на которой «вниз башкой» висит кузнечик:

Дивясь всему, что подо мной,
Дивясь смекалке корабеля,
Ползу я к бору оробело.
Ладью качает...

Летучая ладья — образ детства, с его ромашковыми прериями, ясеневым «индейским» луком, велосипедом, чьи колеса после игры согнуты в две восьмерки, ухом, которое горит, прихваченное за проказы отцовским троесперстием. Здесь — паникарповская усадьба с аллеей вековых дубов, избушки на курьих ножках, маленькие, с допотопными окнами, шуршащими остатками слюды. Здесь мальки в пруду глупо тыкаются в леску и поплавок, а чердак ветхого бабушкиного дома подобен дворцу Гарун-аль-Рашида.

Лучшие стихи книги «Память», «Жуки» — состоявшаяся попытка вступить в доверительный и глубокий разговор с временем, прошлым, самим собой. Примечательно стихотворение «Агнец», воскрешающее самые трогательные картины детства:

И снова улица. Колонка.
Хоть баловство грозит бедой,
Придется окатить девчонку
За то, что ябеда, водой.

У — вредина! Сушись — не кашляй!
Хотя по правде, мне она
Небезразлична. Но нельзя ж ей
Об этом говорить. Жена...

Жене сказал бы — это точно.
Придется ждать. А вдруг умрет?
А если я? Бр... Надо срочно
Расти...

Уморителен образ кота, подобно парламентарю, несущему на хвосте предложение о мире соседскому Мишке. Только детство и есть пора доподлинной жизни человека, его всамделишной веры в чудеса и тайны мира. Но, увы, приходит срок, сказка рушится: Берендеева избушка сменяется городской коммуналкой, «где есть вода, но нет колодца / с живой и мертвой водой...»

Человек взрослеет, отягощается паспортом «с дюжиной прописок», дубленой кожей здравомыслия. Даже Амур прилетает к нему, нудно гудя лопастями пропеллера. Бывший мальчик, мечтавший скорее подрасти, растерянно озирается вокруг. Изумление сменяется разочарованием. Пока еще лирический

герой искренне страшится, узнавая «В торгаше — почитателя Блока, / В тете Мане — подругу забав!»

Придет время, когда поэт признает запрограммированность многих жизненных несуразностей, а гипсовые пионеры и колхозницы будут вызывать у него гораздо больше эмоций, нежели торгаша и самые трепетные ценители Блока.

Уже в «Летучей ладье» намечены основные темы поэзии Разумова: возвращение в спасительное прошлое и борения души, отягощенной разумом: «Как странно жить, доверившись уму...» Слово «разум» в какие-то моменты начинает казаться у поэта назойливым, однако избавляться от него значит избавляться от фамилии, вынесенной на обложку книги.

Разумов — поэт мыслящий, рефлексирующий, анализирующий. Со всей очевидностью подтверждают это книги «Глаза небес» (1993) и «Прудяные холсты» (1995). Ревнители поэзии безмыслия могут торжествовать: в лице Евгения Разумова у них есть подходящий объект для нападок. Увы, сегодня, когда даже постмодерн увенчан благородными сединами, не иссякает охранительный задор апологетов Есенина и Асадова. Вновь и вновь пытаются, например, навязать нам образ Пушкина как шаловливого «дитяти» муз, а его фразу: «Поэзия, прости Господи, должна быть глуповата», — перепевают на сто ладов, нередко оправдывая ею поэтическую инфантильность и дилетантизм. В свое время Семен Франк справедливо замечал, что в этой реплике выражено лишь «эстетическое отрицание тяжеловесного дидактизма в поэзии». К слову, сам Пушкин, не любя неповоротливых рылеевских «дум», высоко ценил стихи Боратынского именно за мысль, звучащую в них.

«Глаза небес» — рассказ о странствиях прозревающей души, души, стосковавшейся по «многовековой вере». Поэт учится мириться со своей рефлексией, хотя нет-нет да и мелькнет в сознании легкая тень зависти к лесорубу, у которого «пусто в голове», к другу-художнику, рука которого привычно тянется к «неодетым девам». И все же: «Не оставь души, рассудок, / Ибо там ночует Бог...»

Чем отчетливей перспектива растворения в местечковом «бите» и быте, тем сильнее стремление прикоснуться к тайне нелюдимых небес. Нежелание принять виртуальное счастье «алкапавта», страх назвать судьбой «возделывание личной картошки» гонят лирического героя на прозрачный нидерландский ледок, в котором отражаются образы Босха и Питера Брейгеля, в Вифлеем и Иерусалим, где вершатся главные события новой истории.

Однако опредмеченный земной мир не отпускает от себя далеко — в нем живут спасительные воспоминания о детстве

и юности: позолота старых пуговиц, высохшие гербарии, проколотый булавкой махаон, фанерные звездолеты и гипсовые девушки с веслом. Этот мир бесконечно уютен и добр, хотя порой стыдно самому себе в этом признаваться. Временами хочется отрешиться от ночных страхов, от муки сомнений и нырнуть вслед за медной копеечкой во чрево алебастровой кошки-копилки, дабы обрести наконец душевный комфорт. Может, отсюда такое пристальное внимание поэта к вещам, в каждой из которых интересна и утилитарная, и сакральная суть, к статуйным, а значит, удобным для разглядывания формам: «О, склад российского сельмага — / Соседство фресок и тюков!»

С другой стороны, гипсовые пионерки и кошки, фанерные ракеты, витринные манекены призваны подчеркнуть иллюзорность, несамоделитность жизни — той самой, нашей, единственной, которую мы принимаем за настоящую. Вещи, мертворожденные тела образуют пусть не бодлеровскую, но разумовскую систему «соответствий». Впрочем, даже древнеегипетская мумия — плохой проводник в мир горний. Куда уж живому человеку: «Не свернуть, челнока не найти, / Аки посуху — тоже не выйдет!..»

Люди, «пережившие Христа», имеют привычку взирать на Небо, но оно умножает не ответы, а вопросы. Глаза небес порой кажутся незрячими, но слепота мнима: небесам всего лишь отвратно глядеть на это скопище «подлой плоти».

Лирический герой Разумова стремится доказать, что человек не безнадежен, он умеет любить и страдать, он хранит память о своей земле, о распятом и воскресшем Божественном Сыне.

Лучшими стихотворениями второй книги назовем «Голос внучки», «Мальчик сидит на веранде с гербарием...», «Наверное, в раю, где комары...», а лучшей книгой разумовского «четвероевангелия» — «Прудяные холсты». В ней, на наш взгляд, достигнута наивысшая достоверность авторской интонации за счет равновесия лирики, иронии и рефлексии. Показательны строки из стихотворного посвящения Александру Бугрову:

Ведь что-то останется душам,
На смену пришедшим уже,
От наших гуляний по лужам,
От строк, промелькнувших в душе...

Даже к собиранию жуков в консервную банку на «личном участке» лирический герой относится уже философичнее, мудрее. Лирическое «я» не чувствует себя столь бесприютно и зябко: надежду даруют стихи и холсты, ощущение вековых корней, радость семейных уз, молитва, срывающаяся с уст:

И осознание любви
Придет в покинутую душу,
И «Господи, благослови!»
Неволью вырвется наружу.

И еще: художественная форма достигает в третьей книге отточенности и даже изощренности, особенно в стихотворном цикле «Питер Брейгель». Вот ощущения поэта, всматривающегося в полотно любимого мастера:

Падает снег с вифлеемских небес
На Нидерланды, кружит над Европой.
К дереву жмусь, точно я перелез
Через багет в этот вечер особый.

Взгляд поэта лишен отстраненной созерцательности: от брейгелевских «поселян» лирический герой Разумова отличен лишь знанием того, «что Ренессанс вокруг». Рамка, примеряемая к миру, — еще одна характерная деталь словописа поэта.

«Четвертый Карфаген» (2000)... Подступы к этой книге были намечены пунктиром ранее в таких стихах, как «В трех верстах от поля Куликова...», «Земли округлая плита...» («Летучая ладья»), «Карьер», «Христа пережившие люди...» («Глаза небес»), «В японскую камеру глядя...», «Ошибся Коперник...», «Через десяток лет забывши вкус латыни...» («Прудяные холсты»). Пожалуй, это первая концептуальная книга поэзии, изданная костромским автором. Лишь бекишевские «Сны золотые» (1998) также выпадают из сонма лирических книг, формируемых по принципу изборника: немножко о том, немножко о сем...

Наверняка у «Четвертого Карфагена» будет больше критиков, нежели у других книг Разумова. Откроет досужий читатель этот плод интеллектуальных ухищрений и фыркнет недовольно: а где тут про любовь? А где про природу? А кто такой Псамметих? Баальбек — это где? Словно подзадоривая такого сорта читателей, Евгений даже «народные» куплеты, напеваемые командой «еростата», сдобривает иронично-пародийным:

Миф поведает о Гидре
И об острове о Лесбос,
Где сидела Пенелопа,
Ахиллесова жена...

Вот такие «конфетки-бараночки»! Веселая песенка, которой завершается архисерьезная по сути книга, может исполнять-ся под аккомпанемент римской трещотки, или русской

гармошки, или кельтской волынки. Представить это так же просто, как ощутить себя жителями не Костромы, но Четвертого Карфагена.

Кстати, почему именно Карфаген? Почему не Второй Теночтитлан? Не Пятый Вавилон? Проводить параллель с Третьим Римом значит, по нашему мнению, излишне упрощать концепцию книги. Сам автор не ограничивается прозрачной мыслью о том, что народ, объявляющий себя правопреемником великой империи, наследует не только ее славу, но и ее мерзости, не только ее мощь, но и право быть растоптанным нашествием новых варваров:

Назвавшись Римом — жди гостей,
Повозок готских по дорогам
И груды скрюченных костей,
Что не прикрыть истлевшим тогам.

Это напечатано еще в «Глазах небес». Дескать, назвался груздем — полезай в кузов. Расхлебывай, Москва, кашу, сваренную калигулами и неронами.

К счастью, «Четвертый Карфаген» не сводим к размышлениям о родовых пятнах прошлого и несостоявшихся вариантах истории, «могло бы где быть не то не так...» Автор живописует синкретичную вселенную, где под ряской пруда спят кистеперые рыбы, где Перун делит ложе с Афродитой, а Тигр и Евфрат несут свои воды в Ключевку.

Историософия Разумова дает обильную пищу для размышлений: Гаутама, Аханов, Фрейд, Робертино Лоретти, Шамиль, Пушкин, Нефертари, Иисус, Сусанин, Нерон, Борис Коробов — генетическая родня, персонажи одной мистерии под названием Мировая История. (Интересно, были ли у древних шумеров аналоги нашим анекдотам о Василии Ивановиче и Петьке?) Стоунхендж, Кострома, Карфаген, Париж, колхоз «Ленинский путь», Вифлеем, Удоев, Когдатоывалецк — закоулки одного города, именуемого Цивилизацией:

Хоть не был Осирис Младенцу знаком,
Но все повторялось почти.
...Жуки-скарабей шептали о том,
Что в Библии слышно. Прочти.

Надо прочесть. Хороший совет не только пишущим в манере «вот моя деревня», но и всем нам.

Если в прежних книгах Разумова центральным был мотив путешествия в прошлое, то в «Четвертом Карфагене» взгляд

ПРАВО НА ЮБИЛЕЙ

автора существенно меняется. В прошлое не нужно возвращаться, ибо оно никогда не кончается. Настоящее и будущее есть продолжающееся прошлое. Наши воспоминания и мечты есть реальность. Все вещи высыпались на землю из одной торбы. Все есть единое. Назовите эту философию хоть неоплатоническим всеединством, хоть разумовским «небогохульством-небогомольством»...

«Четвертый Карфаген» написан мощно, размашисто. Однако языческое буйство сочетается здесь с христианским самоуглублением, блестящая ирония — с высоким трагизмом. Прочтите потрясающее стихотворение «Дубовой аллеей брести бы...», и вам все станет понятно.

Концепцией книги предопределено обильное присутствие в стихах литературных, исторических аллюзий, реминисценций. Особенно показательно в этом плане «Не машите, девы Карфагена...», заставляющее вспомнить не только Мавзола, но и Окуджаву, и Есенина.

Можно упрекать автора за некоторую тяжеловесность стиха, за перенасыщение именами. Владимир Соловьев, объясняя различие между природой и историей, замечал, что первая держится только именами нарицательными, а вторая — собственными. Можно предъявлять автору счет за нарочитый отход от чистого «лиризма», но

Кромлехи и дольмены, вы ли тому виною,
Что никуда не деть вас, ибо когда-то были?..

Пусть в качестве индульгенции поэту выступит дата, обозначенная в его книжке, — 2000. Бесспорно, главным провоцирующим звеном в истории «Четвертого Карфагена» стало это обремененное жуткими нолями число. Когда могла появиться такая книга, как не на рубеже тысячелетий!

Наше маленькое путешествие в «Четвертый Карфаген» завершается. В заключение заметим, что каждая новая книга поэта не похожа на предыдущую, — не возьмемся предположить, какой «уродится» следующая работа. Убеждены только в том, что снова это будет по-доброму ироничный, но вполне серьезный разговор о мире и человеке, о нашей брэнной и прекрасной жизни.

Есть в истории науки, литературы и искусства имена, которые, на первый взгляд, только и ждут своего юбилея, чтобы затем прочно занять место в одном из томов Энциклопедии. Но они приходят к потомкам через века не как гости, приглашенные для небольшого торжества в их честь, а как строгие судьи, смелые открыватели, пытливые современники. И приглашающим делается неловко: хотели отдать дань признания, вызволить их из тьмы забвения, а они, оказывается, и без юбилея жили и будут жить еще сотни лет. Юлия Валериановна Жадовская (1824-1883) принадлежит именно к тем, кто имеет право на памятник, букет цветов, доброе слово. Имеет право на внимание и серьезное изучение. Хотя она и считается забытой поэтессой, но это несколько не умаляет ее роли и значения в общественно-культурной жизни 40-50-х годов XIX в., не снижает скромного, но своего места в истории русской поэзии.

Если освободиться от узкого автобиографизма (дворянка, пережившая несчастную любовь) и местного патриотизма (наша, ярославская или костромская), а сравнить ее «историю страсти» с судьбой крепостной крестьянки, образ лирической героини ее поэзии — с типом общественного сознания того времени, то станет ясно, что перед нами яркая выразительница своей эпохи. И это понимали лучшие люди той поры, разные по своим социальным и эстетическим взглядам.

Кто, даже знакомый с литературной полемикой 40-х гг., мог предположить, что одобрение первого сборника (1846) поэтессы будет столь единодушным? Все ведущие журналы пропели хвалу юному дарованию. Полевой и Сенковский, Вал. Майков и Белинский — все признали поэтический талант и удостоили его своим вниманием. Кто мог предположить, что «последний романтик» Аполлон Григорьев, славянофил Алмазов так же высоко оценят «искренность и нежность чувства» Жадовской, как и Писарев, признавший, что стихи ее «стоят наряду с лучшими созданиями русской поэзии»? Нет, не было случайным то, что и в другую эпоху, другими критиками после второго сборника поэтессы (1858) было отмечено то же самое: искренность, задушевность, правда чувства.

Фактом широкой известности Жадовской можно считать и то, что она печаталась в «толстых» журналах: «Москвитянин», «Сын Отечества», «Русский вестник»; в «Московском литературном и ученом сборнике на 1847 год», Ярославском литературном сборнике (1849), «Сборнике в память Смирдина» (1858).

«Сборнике лучших произведений русской поэзии» (1858); антологических изданиях и даже в школьных учебниках. Еще при жизни Жадовская попала в «Курс истории русской словесности» (1869) под ред. Петрова и даже удержалась в таком капитальном труде, как «История русской литературы XIX века» (1910) под ред. Овсянико-Куликовского. И на рубеже XX в. Жадовская не исчезала с литературного горизонта. Об этом свидетельствует альманах «Русские поэты за сто лет» (1901), составленный Сальниковым. В конце XIX в. дважды выходило посмертное Полное собр. соч. Жадовской в 4-х томах. Все это говорит о том, что поэтесса хотя и воспринималась читающей публикой как далекое прошлое, но не забыта и почитаема. Без ее стихотворений «Грустная картина», «Нива» нельзя представить дореформенную Русь, как без картин народной жизни Некрасова, «Записок охотника» Тургенева, «Деревни» Григорovichа.

Жадовская была европейски образованным человеком. Когда ей было 16 лет, она уже переводила с французского сентиментальную повесть «Госпожа де Монтрель», а немного позже — главы из «Фауста» Гёте, стихотворения Фрейлигера, Уланда, Зейдлица, «Интермеццо» Гейне. Жадовская постоянно и много читала, имела довольно верное представление о соотношении литературных сил в период подъема общественного сознания после Крымской войны.

Невозможно представить Жадовскую вне лесов и полей Буйского уезда, Костромы и Волги, так дорогих ее сердцу. Мягкий поэтический талант находился в полной гармонии с природой вокруг Панфилова и Толстикова, где с 1873 г. Жадовская жила в купленной ею усадьбе.

Чистота и честность поэтического мышления Жадовской всегда привлекала «людей мыслящих» (Вал. Майков), а тихая и безвестная смерть 9 августа 1883 так взволновала современников, что в некрологах «Петербургского листка» и «Московских ведомостей» было сказано, что «скончалась в своем имени... одна из выдающихся наших писательниц Юлия Валериановна Жадовская».

Современные ценители поэзии далеки от возвеличивающих эпитетов, но им ясна общезначимость и укорененность Юлии Жадовской в русской поэзии. Синтезировав в своей эволюции основу народной песни с социальной трактовкой образа лирической героини, Жадовская достигла психологизма, присущего только ее лирике. Она сразу же вошла в число русских женщин-поэтов, какими являлись Каролина Павлова и Евдокия Ростолчина.

В наше время поэзия Жадовской ушла в историю литературы, сборники ее стихотворений можно выписать из фондов

библиотек только Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля и Костромы, но случайно обнаруженные стихотворения ее волнуют бесхитростностью, свежестью чувства, они тянут в себе тайну прямого и самого краткого пути от сердца к слову. И если эта тайна будет раскрыта, имя Юлии Жадовской будет почитаться не только в связи с юбилеями.

Юрий Лебедев

«Я ВСЁ ЕЩЕ ЕГО, БЕЗУМНАЯ, ЛЮБЛЮ!..»

(К 180-летию со дня рождения Ю. В. Жадовской)

Долгими зимними вечерами бабушка рассказывала сказки. Маленькая Юлия навсегда запомнила ту, в которой было нечто пророческое, предвещавшее её судьбу:

«У одних супругов не было детей. Вот и дали они Богу обет посвятить Ему первого ребёнка и удалить его от мира совершенно. Услышал их Бог. Родилась у них дочь. Вместе с радостью для матери явилась и забота, как воспитать дочь, как уберечь ее от мирского влечения, от всего обаяния жизни и соблазнов юности. Придумали, наконец, воспитывать её в тёмной комнате; никто не смел ей говорить, что за стенами есть свет, простор, есть зелёные луга, шумящие деревья, душистые цветы. Растёт дитя не по годам... Однажды, когда она умывалась, няня нечаянно приоткрыла дверь комнаты. Луч света брызнул в щель, девушка увидела в воде свой образ... «Как! — вскричала она, — есть свет, есть мир, а я живу впотьмах — вон отсюда, из этой душной комнаты!..»¹

Знакомясь с биографией Ю. В. Жадовской, подходишь к родникам, которые питали нашу литературу, которые определяли её неповторимое национальное лицо. Друг И. С. Тургенева, немецкий писатель П. Гейзе, видел их «в интимной близости русского человека к родной почве, к природе, в редкостном слиянии светского человека с простым крестьянским укладом души»², уже невозможным для просвещённого человека Запада. Этот синтез высокой европейской образованности с народно-крестьянской душевной цельностью давала нашему поэту деревенская усадьба.

Сближало Юлию Валериановну с русским народом и другое — искренняя религиозность, умение достойно и терпели-

во нести свой жизненный крест. Ю. В. Жадовская родилась 29 июня (11 июля) 1824 года в селе Субботино Любимского уезда Ярославской губернии, в имении отца. Она принадлежала к древнему, но к началу XIX века оскудевшему дворянскому роду. Отец её, Валериан Никандрович Жадовский, воспитанник Морского кадетского корпуса, служил во флоте, а затем, выйдя в отставку, был сначала чиновником особых поручений при ярославском губернаторе, потом председателем ярославской гражданской палаты. Мать поэтессы Александра Ивановича Готовцева была родной сестрой костромички Анны Ивановны Готовцевой, женщины весьма образованной и поэтически одаренной, печатавшей стихи в «Московском телеграф», «Сыне Отечества», «Галатее», вступавшей в поэтический диалог с самим Пушкиным. Писательским дарованием не обделена была и старшая сестра Готовцевых Мария Ивановна.

Судьба жестоко отнеслась к Юлии ещё до её появления на свет. На третьем месяце беременности её мать оступилась, сходя с лестницы, и девочка родилась с серьезными физическими недостатками. Несчастливая в супружестве, Александра Ивановна отдавала ребенку лучшие силы души. Но жизнь Юлии складывалась по пословице: «горе по горю, беды по бедам». Не успев окрепнуть, она лишилась материнской ласки: Александра Ивановна скончалась в возрасте 22-х лет от скоротечной чахотки. Почувствовав, что дни её сочтены, она отдала свою дочь на воспитание бабушке, Настасье Петровне Готовцевой, в усадьбу Панфилово Буйского уезда Костромской губернии.

«У старушки Готовцевой, — писал первый биограф Жадовской П. В. Быков, — был недюжинный ум, хотя и простой, бесхитростный, однако трезвый; она много читала, много видела на своём веку и, насколько могла, старалась быть полезной своей внучке, окружив её чисто материнскими заботами. Женщина высоко нравственная, религиозная, она воспитывала внучку по-своему, что называется «в страхе Божием», не стесняла, но вместе с тем зорко следила за каждым её шагом»³. Долгими зимними сумерками она сажала внучку перед собою на стол, спускала её ноги к себе на колени, и, поглажив её по голку, начинала рассказывать.

Раннему душевному созреванию Жадовской способствовал её врождённый недуг. Девочка чувствовала себя неловко в кругу ровесников и друзей, часто предпочитала уединение. «Напрасно думают, — писала она, — что уединение успокаивает и умирляет душу; ничто так не волнует её... Чем меньше шуму извне, тем слышнее внутренний голос. Пробуждаются, встают и волнуются вечно заманчивые — потому что вечно безответные — вопросы о тайнах жизни и сердца; налетают

мечты, приходят — незванные гости — надежды; загорается душа верою в счастье и жаждою любви»⁴. Затворницей Ю. В. Жадовская никогда не была. Двоюродная сестра её вспоминала: «Характер Юлии был чрезвычайно ровный, веселый и даже резвый от природы; со временем горе и тяжёлая жизнь уничтожили в ней живость и шаловливость; но никогда никто не видел её мрачной и унылой; она так умела скрывать свои физические и душевные страдания, что даже самые близкие люди едва замечали их... Соображая всю её жизнь, приходишь к заключению, что она была глубоко несчастная женщина, и удивляешься, как до самой смерти она могла сохранить такую ясность духа, такую ровность характера»⁵.

Когда девочке исполнилось восемь лет, бабушка, несмотря на свою любовь к внучке, решила расстаться с ней и увезла на обучение в Кострому к дочери, поэтессе Анне Ивановне Корниловой (Готовцевой), которая деятельно принялась за образование племянницы. Обладая незаурядными педагогическими способностями, она сама преподавала ей языки, географию, историю. Под её руководством девочка начала писать в Костроме прозу и стихи.

В доме Корниловых на бывшей Ильинской улице (ныне ул. Чайковского, 11) встретила Жадовская с другом Пушкина и Вяземского, директором Костромской гимназии и уездных училищ Юрием Никитичем Бартеневым, проявившим участие в становлении её поэтического таланта. «Да не удивит вас моя привязанность, — писала ему Ю. В. Жадовская в марте 1852 года. — Много лет тому назад меня вырвали из тёплого и мирного уголка, где я жила с моей старушкой бабушкой, окружённая привязанностью самой искренней, ласками самыми нежными. Меня привезли в губернский город, который казался мне тогда столицей, в дом, который, по моим понятиям, был очень великолепен и огромен. Мне было 8 лет; в семействе Корниловых не было мне равных; все были заняты своими интересами, то есть выездами и балами. Я терялась в этом мире, столь новом и столь чуждом для меня. В сердце у меня стало образовываться какое-то тёмное, тяжёлое чувство, нечто в роде тоски по родине. Я плакала потихоньку, потому что участие, возбуждаемое моими слезами, было мне плохим утешением, делало меня только скрытнее. Однажды я осталась одна в доме; мне было грустнее обыкновенного; мрачный, зимний день глядел в окна. В гостиную вошёл гость, незнакомый мне. Обращаясь ко мне с вопросом о тётке, он устремил на меня пронизательный, ласково-серьёзный взгляд — и всё существо моё оживилось и затрепетало под влиянием этого взгляда... С того дня в детском мире моём засияла новая звезда, зазвучали речи

сладкие, дотоле неведомые мне, озарившие моё сердце каким-то благодатным светом, живительной теплотой. С увлечением читала я маленькие книжки, которые дарил мне этот добрый гений, Юрий Никитич Бартенев, и тоска моя стихала, и в глубине души заволился зародыш нравственной силы»⁶.

Именно здесь, в Костроме, появились первые литературные опыты Ю. В. Жадовской — рукописная тетрадь произведений в прозе, переводы Гёте, Шиллера, оригинальные стихи. Только тогда отец решил, что и ему пора заняться образованием дочери. Он взял её к себе в Ярославль и пригласил на домашние уроки молодого учителя Ярославской гимназии Петра Мироновича Перевлесского (1815—1871), впоследствии известного учёного, автора популярных книг «Русское стихосложение», «Грамматика старославянского языка», «Практическая русская грамматика», издателя сочинений М. В. Ломоносова, А. Д. Кантемира, В. К. Тредиаковского. Перевлесский увлечённо развивал в своей воспитаннице художественный талант. В течение нескольких лет он посещал дом Жадовских. Дружба молодых людей незаметно для них самих перешла в сердечную привязанность. Жертвуя скромными доходами, отец выписывал для Юлии всё, что выходило в литературе значительного, вывозил дочь в Москву и Петербург для установления связей с литературными кругами столиц. Талант Юлии являлся его утешением и гордостью, удовлетворением тщеславных чувств. Но он и в мыслях не допускал, чтобы родовитая дворянка, подающая надежды поэтесса могла влюбиться в бывшего семинариста, сына рязанского дьякона.

Здесь-то и постиг Юлию жизненный удар, от которого она не оправилась до последних дней своих. Отец категорически отказал молодым в благословении на брак. Ни слёзы, ни страдания дочери не могли укротить его деспотизм. Одна из героинь Ю. В. Жадовской говорит: «Можно любить и два раза в жизни, всё зависит от того, сколько сил унесёт первая страсть. Оборвите весной почки с дерева, оно пустит новые, сделайте это позднее, в нём уже не будет сил распуститься»⁷. У Жадовской такие силы нашлись, но только распустились они не в жизни, а в поэзии.

Однако главным достоинством лирики Жадовской оказалась не социальная тема, а глубокий психологизм, поэтическое проникновение в тайны любящей женской души. Тематическая палитра её гораздо богаче определения «песни женской неволи», которое за ней закрепила критика. Сложнее, по-видимому, была и та любовная драма, которая породила основной мотив её поэзии. Ведь и лирика, и личные воспоминания Юлии Валериановны говорят не только о внешних пре-

пятствиях (запрет отца), но и о внутреннем драматизме её романа с Перевлесским. Вот что писала об этом Ю. В. Жадовская в письме к Ю. Н. Бартеву от 6 октября 1850 г.: «Однажды в жизни моей набегала на меня страсть; но не опрокинула, не уничтожила меня, хоть и больно помяла. Я встретила её борьбой, упорной и смелой, долго боясь, не мираж ли это молодого сердца. После посильного испытания я душой ей предалась. Весь мир исчез для меня, все думы, все помышления сосредоточились на одном человеке... Так шли целые годы. Но пришлось мне наконец испытать и увериться, тоже целыми годами, — в том, что есть самого тяжёлого и безотрадного в любви: ошибка в человеке...»⁸.

В стихах «Ты скоро меня позабудешь» Жадовская изображает глубокий контраст между чувством любящей девушки и увлечением избранника её сердца. Его любовь обыкновенна, как у большинства светских людей, способных менять предметы своих увлечений. И лирическая героиня находит в себе силы не только простить за это легковёрного юношу, но и пожелать ему от своего щедро любящего сердца счастья и любви к другой. Такого драматизма любовных переживаний в начале 1840-х годов не знала русская поэзия. Открытия Тютчева и Некрасова на этом пути ещё впереди. Поэтесса проникает в сокровенные тайники женской души. Она показывает, что любовь может продолжаться и тогда, когда непосредственные отношения между любящими давно прервались. Любимого нет, а чувство живо: оно не только сохраняет по-прежнему свою власть над душой, но ещё и развивается, видоизменяется, растёт.

Таковы стихи Жадовской «Я всё ещё его, безумная, люблю...», ставшие популярным романсом на музыку А. С. Даргомыжского. Это не воспоминания о былом чувстве, а продолжающая жить любовь с новыми взлётами и падениями, способными то сжимать грудь тоской, то дарить мгновения тихой отрады.

Бывают странные сближенья. Триумф этого романса, навсегда прославившего имя Ю. В. Жадовской, связан с Полиной Виардо, которая исполнила его, обращаясь к И. С. Тургеневу, в Москве, весной 1853 года. Это было очень тревожное время в жизни Ивана Сергеевича, высочайшей волей посланного в Спасское без права выезда за пределы Орловской губернии. С января 1853 года Полина Виардо гастролирует в России, но Тургенев узнает об этом из газет. «Признаюсь, хотя без малейшего упрека, что я предпочёл бы узнать всё это от вас самой. Но вы живёте в вихре, отнимающем у вас время, — и лишь бы только вы не забыли обо мне, мне больше ничего не

нужно»⁹. В марте, когда гастроли продолжаются в Москве, Тургенев не выдерживает и с фальшивым паспортом, в купеческом костюме, отчаянно рискуя, отправляется в Москву.

Полина Виардо ответила на любовный порыв Тургенева романсом на стихи Жадовской, исполненным ею по-русски. Это пение настолько потрясло тогда русскую публику, что даже далёкий от круга Тургенева поэт, В. Г. Бснedikтов, не выдержал и посвятил свершившемуся восторженные стихи.

В поэзии Жадовской любовь — чувство динамичное, сложное, развивающееся. В «Признании» лирическая героиня пытается сперва скрывать свои чувства, сдерживать их свободное проявление, испытывая и стыд и страх. Но вот наступает момент, когда эта сдержанность становится невыносимой: падают все преграды, рассудок уступает место страстному порыву. В другом стихотворении — «Прощай» — закат любовных отношений с горькой разлукой впереди. Удивляет здесь мужество, душевная сила женщины, достойно принимающей жизненный удар. Она не жалуется, не плачет, не тешит себя никакими надеждами и иллюзиями. Не требуя участия к себе, она желает счастливой жизни для любимого: и «всех прелестей бытия», и «блеска земного счастья», и новой любви. В лирике Жадовской покоряет читателя нравственный облик героини, её способность подняться над собой, над своим горем, одолеть свой эгоизм могучей силой самоотвержения. И, словно в награду за это подвижничество, живое чувство любви вспыхивает вновь при звуках песни, при весеннем пробуждении природы («Сила звуков», «Ты всюду предо мной»).

Вплоть до начала 1860-х годов Жадовская пишет стихи, периодически совершая выезды в Москву и Петербург. Она находит выход из личного горя и одиночества. Крепнет её лирический голос, сливаясь с голосом русского народа. Неразделённая любовь переходит в сострадательное чувство к малому и слабому. Чужая беда, чужое горе, чужая боль помогают Жадовской справиться со своими собственными душевными недугами. Личное горе как бы растворяется в скудной природе нашего сурового северного края, в драме жизни русского крестьянина.

В стихах Жадовской оживает христианская красота терпения, красота страдания, красота мужественного и святого крестного пути. «Грустная картина» появилась задолго до знаменитых стихов Тютчева «Эти бедные селенья». В отличие от Тютчева Жадовская не вводит в картину русской народной жизни удручённого крестной ношей Христа. Но образ Его «сквозит и тайно светит» в её стихах, поэтизирующих осенний

север с его суровыми красками, скудной природой, бедными селеньями, трудной судьбой человека.

На той же духовной основе вырастает знаменитая «Нива», в которой передаётся крестьянское отношение к земле-кормилице — живому существу. Здесь и восхищение красотой созревающей нивы, и сострадательная любовь к ней от сознания её незащищённости. Одновременно это и стихи о жизни человеческой, такой же беззащитной перед капризами сурового русского климата. Как нива в северных краях всегда под угрозой гибели, так и жизнь нашу гасят холодные общественные ветры. Именно сознание хрупкости земного бытия и развивает в русском человеке любовь-жалость, любовь-сострадание. Когда слабеют в нём надежды на силы человеческие, на помощь приходит вера в силу Божию.

Вышедший в 1858 году сборник стихов Ю. В. Жадовской встречен сочувственными откликами критики. «Нимало не задумываясь», Н. А. Добролюбов причисляет её стихи «к лучшим явлениям нашей поэтической литературы последнего времени». Он замечает не без основания, что стихи Жадовской «не отличаются отделкой», что «рифма часто изменяет ей», что «иногда выходят из-под её пера строфы незвучные, отзывающиеся прозой». Собственно искусства, если иметь в виду поэтическую искусность, мастерство, в них действительно мало. Но все это вполне искупается по Добролюбову одним достоинством — задушевностью, полной искренностью чувства и спокойной простотой его выражения.¹⁰

Он подметил в поэзии Жадовской качество, присущее русской классической литературе вообще, составляющее характерный признак её национального своеобразия. Это «стыдливость художественной формы», свойственная всем нашим писателям-классикам, представляющая родовую черту русского художественного сознания.

Сборник 1858 года — лебединая песня Юлии Валериановны. В 1851 году Перевлесского перевели из Ярославля в Петербург: он стал профессором Александровского (бывшего Царскосельского) лицея. Весной 1858 года Жадовская встретила с ним уже в столице — в последний раз — и опубликовала прощальные стихи:

После долгой, тяжёлой разлуки,
При последнем печальном свиданье
Не сказала я другу ни слова
О моём безутешном страданье;
Ни о том, сколько вынесла горя,
Ни о том, сколько слёз пролила я,

Как безрадостно целые годы
 Понапрасну его всё ждала я.
 Нет, лишь только его увидела,
 Обо всём, обо всём позабыла;
 Не могла одного лишь забыть я —
 Что его беспредельно любила...¹¹

Начиная с 1857 года, выпустив в свет свой роман «В стороне от большого света». Жадовская уходит в прозу. В 1861 году, в первых номерах только что открытого журнала братьев Достоевских «Время», выходит второй её роман — «Женская история», а несколько месяцев спустя — повесть «Отсталая». Центральным конфликтом романов и повестей писательницы является столкновение любящей девушки с предрассудками провинциальной дворянской среды. В прозе Жадовской этот конфликт утратил трагический оттенок, свойственный ему в лирике. Героиня её романов и повестей пытается отстоять своё право на счастье. Так Юлия Валериановна прощалась с прошлым, с эпохой своей неудавшейся юности. «Прозанческие произведения Жадовской значительно уступают её стихотворениям, — считал А. М. Скабичевский. — Та крайняя субъективность, которая составляет неотъемлемую принадлежность лирики, в романе и повести является недостатком. Мы ждём здесь характеров, типов, нравов, и разочаровываемся, находя всюду одного только автора среди бледных и стереотипных персонажей».¹²

После смерти отца Ю. В. Жадовская покупает в 1873 году в Буйском уезде Костромской губернии усадьбу Толстикова, где и проводит остаток своих дней. «Когда я умру, — писала она Ю. Н. Бартеву, — я хочу, чтоб над моей могилой склонялись берёзы, и, озарённые весенним солнцем, молодые листы блестели и переливались золотом... Пусть в этой вечной, всеобъемлющей силе и красоте потонут все утраты, утихнет волнение и всё тёмное жизни озарится вечным светом».¹³

28 июля (9 августа) 1883 года Ю. В. Жадовской не стало. Погребена она в приходе села Воскресенье, неподалёку от Толстикова, в девяти верстах от уездного города Буй. «Церемония погребения совершалась в деревенской церкви, без лавровых венков, но гроб её был покрыт живыми цветами, взлелеянными ею самой, а вокруг лились непритворные слезы друзей, знакомых и простого народа, находившего в ней поддержку и помощь при каждой житейской невзгоде».¹⁴

Ушла Жадовская, но остались вечно жить её стихи. Многие композиторы (Варламов, Глинка, Даргомыжский и др.) обращались к поэзии Жадовской, продолжающей традиции

русской голосовой народной песни... Особенно популярными стали романсы Даргомыжского «Ты скоро меня позабудешь» и «Я всё ещё его, безумная, люблю», исполняющиеся со сцены и до сих пор. Стихи Жадовской «Нива» и «Грустная картина» не оставят равнодушными и современного читателя: они стали фактом национального самосознания, органической частью русской поэтической культуры.

¹¹ Шукинский сборник. Вып. 4. М., 1905. — С. 352 — 354.

¹² Алексеев М. П. Мировое значение «Записок охотника» // Творчество И. С. Тургенева. М., 1959. — С. 125.

¹³ Жадовская Ю. В. Полн. собр. соч.: В 4 т. — Т. 1. СПб., 1885. — С. VI — VII. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием тома и страницы.

¹⁴ Из письма Жадовской Ю. Н. Бартеву от 24 марта 1848 года // Шукинский сборник, вып. 4 М., 1905. — С. 321.

¹⁵ Фёдорова Н. Воспоминания о Ю. В. Жадовской // Исторический вестник, 1887, № 11. — С. 396.

¹⁶ Шукинский сборник. Вып. 4. М., 1905. — С. 357.

¹⁷ Жадовская Ю. В. Женская история // Время, 1861, №3, отд. 1. — С. 9.

¹⁸ Шукинский сборник, Вып. 4. М., 1905. — С. 340. Выделено мною — Ю. Л.

¹⁹ Тургенев И. С. Полн. собр. соч.: В 28 т. — Письма. — Т. 2. М.; Л., 1961. — С. 401.

²⁰ См. Добролюбов Н. А. Собр. соч.: В 9 т. — Т. 3. М.; Л., 1962. — С. 133 — 147.

²¹ Сын Отечества, 1859, № 13. — С. 348.

²² Скабичевский А. Песни о женской неволе // Вестник Европы, 1886, № 1. — С. 18.

²³ Шукинский сборник. Вып. 4. М., 1905. — С. 349.

²⁴ Фёдорова Н. Воспоминания о Ю. В. Жадовской. // Исторический вестник, 1887, № 11. — С. 405.

Юлия ЖАДОВСКАЯ

* * *

Я все еще его, безумная, люблю!
При имени его душа моя трепещет;
Тоска по-прежнему сжимает грудь мою,
И взор горячею слезой невольно блещет.
Я все еще его, безумная, люблю!
Отрада тихая мне душу проникает,
И радость ясная на сердце низлетает,
Когда я за него создателя молю.

1846

НИВА

Нива, моя нива,
Нива золотая!
Зреешь ты на солнце,
Колос наливая.
По тебе от ветру,
Словно в синем море,
Волны так и ходят,
Ходят на просторе.
Над тобою с песней
Жаворонок вьётся,
Над тобой и туча
Грозно пронесётся.
Зреешь ты и спеешь,
Колос наливая,
О людских заботах
Ничего не зная.
Унеси ты, ветер,
Тучу градовую;
Сбереги нам, Боже,
Ниву трудовую!..

1857



С гравюры А. Мариева

Позвиз

Владимир КОСТРОВ
Москва

* * *

Вот уж мне за сорок в самом деле,
и видится, пожалуй, все ясней:
мои заботы ваших не тяжеле,
мои печали ваших не грустней.
И ночь моя не дольше
вашей длится.
И день мой
не длинней другого дня.
Но есть всегда с другими поделиться
счастливая возможность у меня.
Сказать о том,
чем мы живем,
что любим,
о ласточке, прилипшей у стрехи.
Мои стихи —
лишь письма добрым людям
и людям злым, читающим стихи.

ВОСПОМИНАНИЕ

Замкну квартиру городскую
и ключ два раза поверну,
нырну в глубинку костромскую,
как лещ осенний в глубину.
К забитому крест-накрест
дому,
крыльцу,
поросшему быльем.
И надо мной,
как черный омут,
сомкнется темный окоем,
чтоб частым ельником лечиться
и жить меж редкими людьми.
Как годовалая волчица,
душа зайдется от любви.
— Чего ты здесь забыл, приятель,
среди делянок и кулиг? —
Стучит в виске дотошный дятел,
кричит в груди ночной кулик.
С какого тайного разора
ты свой поклон сюда принес,
что кличешь у глухого бора?
Чего ты хочешь от берез?
Какой судьбе ответа ищешь,

как мамкой брошенный птенец?
Иль зов родного пепелища
неужто вспомнил наконец?
Ты мог, как дед, идти за плугом,
как дядя, мог ольху корить
и, как отец, над влажным лугом
косой отбитою парить.
Зачем идешь дорогой теплой,
которую не ты торил?
Лежал бы, друг, на гальке теплой,
слова чудные говорил.
Стою в парах земного духа,
с травой и ветром заодно,
как будто снова повитуха
запеленала в полотно.
Течет к реке угор покатый.
И тронкой памятных утрат
иду,
ни в чем не виноватый,
кругом как будто виноват.

* * *

Вновь краска горит на плакатах,
как в годы атак и защит.
Смыкаются стрелы на картах,
на глобусах сетка трещит.
Нацелены субмарины
в тяжелые массы людей.
На старых иконах Марии
к груди прижимают детей.
И видится:
мощно и резко,
конем попирая зверье,
Гсоргий-воитель на фреске
уже подымает копье.
Быть может, врагам незаметно,
как яростно напряжены,
готовы сойти с постаментов
герои огромной страны.
Опять всколыхнулись народы,
и близко большая беда...
И снова нужны патриоты,
и может быть, как никогда.
А небо нам давит на плечи,
пытаясь согнуть до земли.
Одни только мирные речи
еще никого не спасли.
И мы победим.
Непреложно!
Да, наша победа придет!
Но сколько ж, история, можно
испытывать русский народ?!

ОЗЕРНАЯ ПЕСНЯ

Пылали здесь закаты,
Теперь не знаю где.
На лодочке плыла ты
По розовой воде.

И взором ты сияла,
Нежна и весела.
Срывались струи ало
С блестящего весла.

Прозрачно пламенело
Все озеро до дна.
Звезда Любви горела —
На небосвод одна.

Промчались бурей беды
По счастью моему;
И ласки, и беседы —
Все кануло во тьму.

Я даже не пытался
Избавиться от бед.
Лишь белый свет остался
На весь на белый свет.

СНЕГОПАД

Когда я накругло осиротел
(Да есть ли кто на всей земле безродней?)
И позабыл, что вспомнить я хотел, —
Вдруг снег пошел, усталый, прошлогодний.

Он шел и шел неспешно до весны,
Он шел, не тая, не переставая.
Я видел сны, твои я видел сны, —
Меня ты сном объяла, как живая.

Белым-бело. Ни края, ни черты.
В душе лишь мельтешенье и порханье.
Не смеешь ты нарушить пустоты
Взыскательным грехом воспоминанья.

ТЕРЕМ

Что за терем возник у реки!
По-над кровлей березы поклоны.
Вдоль забора колючки витки,
Золотых проводов вавилоны.

Песья морда на дверце стальной.
С крыши скалится череп с костями.
Сам хозяин с подругой хмельной
Пучит бицепсы перед гостями.

Без затылка его голова,
Лобик сморщен смазным голенищем.
Из усов вылетают слова,
В словаре мы которых не ищем.

Не сгорая, дымят шашлыки,
Визг в кустах да истомные стоны,
И, сверкая, трепещут витки,
И, сияя, дрожат вавилоны.

Как посланец планеты другой,
Средь лесов возвышается терем,
И в краю неурядиц и горь
Путь к нему безнадежно потерян.

Земь шатается — только держись:
На лугу рок-н-ролл сатанеет.
Средь сиреней окошко чернеет,
Как провал в чью-то жуткую жизнь.

КАРУЗО

Грех не вспомнить кабак захудалый,
Не забыть гулевые деньки.
...Матерщиной привычной, не шалой,
Забавляются мужики.

Из-за пазухи в жидкое пиво
Роковую «родимую» льют.
С пониманием, справедливо
Кроют власть и советы дают.

Все путем: так бывало, так будет.
Брат наш вовсе не зол, но сердит.
Впрочем, если кого-нибудь судит,
То себя самого не щадит.

Скучно, Господи! Что за беседа...
Мат душе — голый заднице еж.

Знатный токарь толкает соседа:
«Ты, Карузо, чего не поешь?»

И сосед, превозмогший икоту,
На такую возвысился ноту,
Что и глянуть-то страшно оттоль, —
И воскресла старинная боль.

Разошелся под говор хвалебный
Голос праведный, голос волшебный, —
Во вселенной такой поискать,
Им бы ангелам уши ласкать!

Сколько их на Руси на великой —
Тех, кто дар свой живьем закопал!
Знатный токарь с ухмылкой дикой
По загривку певца потрепал:

«Ты в народных артистах Союза
Шиковал бы, когда б не резон,
А у нас ты всего лишь Карузо
Да к тому же еще Робинзон!»

Алексей Скуляков

ПАМЯТНИК

В. Лапшину

Прежде чем со света сгинуть,
Удалиться в мир иной,
Собираюсь я покинуть
Ненадолго край родной.
Собираюсь ненадолго
Я покинуть Кострому,
Хоть и город мой, и Волга
Милы сердцу моему.
Я прощусь с соседкой Клавой,
И с женой своей прощусь,
И пушусь в Москву за славой,
За известностью пушусь.
Покачу к тебе, столица,
Через город Ярославль.
Знаю, слава не синица,
А известность не журавль.
Знаю, славу и известность
Займать всего трудней.
Я московскую окрестность
Покорю за пару дней.
Я концертный зал «Россия»

И Дворец в Кремле сниму,
Прослышу я как мессия —
Возвеличу Кострому.
И меня обратно лично
В путь проводит президент,
Костромской глава публично
Мне подарит постамент,
На котором после смерти
И заслуженно вполне,
Верьте этому — не верьте,
Памятник поставят мне.

* * *

Не поеду я в Москву за славой —
Перебьюсь.
Обойдусь и без золотоголовой,
Обойдусь.
Что мне бронза — вникни на досуге,
Что гранит?
Я и так давно в своей округе
Знаменит.
И с властями местными я дружен —
Ты усвой.
И жене с моей соседкой нужен
Я живой.
Ты прости, коль я тебя обидел,
Ты прости.
А когда меня заменит идол —
Навести...

Вячеслав ШАПОШНИКОВ

ОСЕННИЙ ДЕНЬ НА ПОКШЕ

Лежать в стогу, и — взором ввысь — молиться
под затухающий прощальный клик
чуть видимой отлетной вереницы,
и помнить: драгоценен каждый миг...

Просторен и печален день короткий.
И тают, как снежинки, на губах,
как на воде осенней отблеск кроткий,
слова псалма: «Из глубины воззвах...»

Из глубины настуженной низины?
Из глубины измученной страны?
Из глубины... Не все ли тут едино?!
Одно лишь знаю, что — и з г л у б и н ы...

Из глубины такой, в которой Русью
живет и дышит свято миг любой.
Из глубины душа восходит грустью,
как свет над светом, — над самой собой.

Вон — в стороне — такое же сиянье:
за умброю и окрой золотой
кустов прибрежных светом-полыханьем
река восходит над самой собой.

О чем мое немое воззвание?
Лишь об одном оно, лишь об одном:
чтоб длилось, длилось это состояние
сном наяву, печальным светлым сном!..

Все из глубин, из глубей потаенных
к Тебе взывает, Господи, вокруг.
Сам над собой, дождями омовенный,
сиянием парит прибрежный луг.

Чу! Что за звон послышался над полем?!
Почудилось... В округе этой всей
остались от церквей и колоколен
лишь силуэты — неба чуть светлей.

Безмолвна высь. Не слышно больше клика.
Вон — прочерком над изгорбью полей —
едва видна тропинка-паутинка...
Путь журавлиный — неба чуть светлей..

Пора и мне — к моим путям-дорогам,
к юдоли человеческой моей..
Уйду. Но тут останется, над стогом,
мой силуэт, что неба чуть светлей..

* * *

Под брань ветров проснулся и лежу,
а в думах — словно по лесу кружу..
Как страшно пучат огненные очи
за окнами седые птицы ночи!
Обманный свет... Пути не нахожу..
Как будто в этой темени ночной
все боли моей Родины больной
явились мне, слетелись к изголовью..
И стон стоит. Чем их унять?! Любовью?
Разрывом сердца? Слезною мольбой?..
Ответа нет. Есть только стон и вой.

РЯДОМ С ПРОМОРОЖЕННЫМ БОРОМ

Бор — в густой седине.
Не пройти. Не продраться.
Седы равно тут все —
и «младенцы», и «старцы».

Равно всех облегла
цепенящая сила,
равно всех обожгла,
равно всех опалила.

Да-а-а... Вот это н а р о д!
Все, как есть, — заедино!
Пред таким обомрет
полутей холодина!

Встал он — будто стена!
Дятла дробь бсевая.
Тут закон — прямизна
и решимость святая.

Тут отступников нет.
Сникни, силища вражья!
Даже каждый просвет
смотрит взором бесстрашья.

Тронул бор мой рукав
вихорьком снежной пыли:
— Вы-то, русичи, — как?!
Ныне вы — таковы ли?!

ПЬЯНЫЕ

Подошли пьяней последней пьяни,
языки ворочаются еле:
«Батя! Мы ведь тоже — христиане!
Все — законно! И кресты — на теле!..
Н-ну... грешны... Н-ну... «приняли» с устатку.
Может, перебрали мы немного..
Вот скажи: какую-то разрядку
мужики себе позволить могут?!»
«Что сказать вам — христианам пьяным,
коли залиты глаза и уши?!
Вам бы страшным плачем покаянным
сотрясти свои хмельные души!
Плачем взор очистить до прозренья,
да и слух открыть стенаньем слезным!
Разглядеть, расслышать ясно время,
что летит на нас потоком грозным!

О какой глаголете «разрядке»
 пред его стремительной водицей?!
 От нее не спрятаться вам в пьянке,
 никаким безумьем не прикрыться.
 Время покаяния нам, братья,
 малое отпущено сегодня.
 Крест на теле — образ сораспятья
 с Господом. В нем кровь течет Господня!
 Вы ж его несете в ад разгула,
 выставляя символом обманым...»

.....
 Это только в помыслах мелькнуло.
 Слов таких не доверяют пьяным.

Послания друзьям

Геннадий ПОПОВ
 г. Орел

ПАМЯТИ НИКОЛАЯ РУБЦОВА

Куруется пар над сонными ручьями,
 Седые росы лижут сапоги.
 Звезда полей
 прощальными лучами
 Над родиной неласковой горит.
 Шальному лету в спину свищет осень,
 Колышет ветер волны камыша.
 Траву в лугах уже никто не скосит,
 Заря встает привольно, не спеша.
 Щемящий миг...
 Застынет изумленно
 И распахнется сердце на свету.
 А над листвою огненного клена
 Светило набирает высоту.

ЛЕТА

Течет судьба в незримых берегах
 Глухой вражды...
 Обидно до удушья.
 Но дело тут совсем не во врагах,
 А в берегах породы равнодушья.
 И хоть крестись, хоть плюй через плечо,
 А неприступна вечная порода:
 Ни жалобы, ни просьбы нипочем,
 И не найти ни выхода, ни входа.

Какая преходящему цена?
 О нем бы и заботиться не нужно.
 Но все-таки хочу достать до дна
 В течении предательства и дружбы.

Быть может, там отзывчивей песок,
 Который вечность все пересыпает...
 Но на глазах белеет мой висок,
 И сам поток на нет пересыхает.

Олег ХОМЯКОВ

Олег Михайлович Хомяков, член Союза писателей России, Союза кинематографистов, автор многих книг прозы и поэзии. Живет в Шарье. В декабре этого года у него юбилейный день рождения. Веселый, добрый человек, мастер устных импровизаций, пройдя интересные творческие дороги, вернулся на родину. Земляки его приветствуют и желают здоровья.

ВЫБОР

Первомай в Белокаменной ярок и нов.
 Я в колонне плыву меж домов-берегов.
 В кумачовом сиянии флагов и лент:
 Не шарьинский подросток — московский студент.
 И, конечно, ликую! Конечно, горжусь!..
 ...Только жизнь пролетит, стану седеньким я
 И пойму, когда в прошлое мыслью вернусь,
 Что Москва — лишь любовь,
 А призвание — Шарья.
 Я места проживания трижды менял:
 Был москвич, свердловчанин, затем одессит.
 Но четырежды истину эту познал:
 Если сердце — железо,
 Ветлуга — магнит.
 Хотя в мир зашарьинский распахнута дверь,
 Тополя, и березы, и дымка вдали
 Помогали всегда, помогают теперь
 Видеть в «родине малой» столицу земли.

ОЧЕРЕДЬ ЗА САХАРОМ

Ушла и — нет..
 И страшно мне без мамы.
 И кошке тоже: в валенке сидит.

И черными крестами встали рамы:
За ними месяц спит.
Любой бандит
С большой дороги голыми руками
Нас может взять...
Не он ли?!
Хруст-щелчок.
И мама на порог —
С двумя кулками!..
И как же сладок сахарный песок,
Положенный в полуночный
Чаяк.

ПЯТОЕ ВРЕМЯ

Белое, всем в угоду,
Платице приготовь.
Пятое время года
Знает одна любовь.

Кепке белеть опрятным
Клинышком у брови.
Солнышком незакатным
Светит сезон любви.

Что вам дожди на кровлю,
Градовой тучи край:
В доме, что жив любовью,
Вечнозеленый рай!

Богу любовь в угоду,
Как говорили встарь:
Личное время года
Празднует календарь.

БРОШЕННЫЕ

1
Уголь черный, город серый, климат гнусный.
Мать, отец в чаду подземном, разносменном...
Но ведь не на грядке под капустой
Найден сын — в кулечке драгоценном!

2
Да ни суток, ни полсуток, ни минуты
На ребенка: сел-поел и вылетай-ка!..
Срез обочный, путь порочный, круг замкнутый:
Телек-видик, толик-вовик, лейка-шайка.

3
Протоколы на машинке, от руки ли:
Извертелась милицейская «вертушка».
Тут и триллер, тут и триппер, тут и киллер —
Два привода, две больницы, вся катушка.

4
Край паскудный, ужин скудный, клубик сгнивший.
Бард терзает ненастроенные струны.
И как страшен его хрип полумальчиший:
«Русь, когда ты пожалеешь свою юность?..»

Послания друзей

Станислав ЗОЛОТЦЕВ
г. Псков

ПОЭТЫ

Нетвердая мальчишечья рука,
торжественно-горластые глаголы.
Еще похож язык на вихрь веселый.
Еще ни горя, ни судьбы, ни школы
и слава, словно солнце, далека.
Но это — Пушкин. Первая строка...

Глухие звуки, полные мученья,
среди пайков, наветов и арестов,
как стон мольбы — не за свои грехи.
Мятеж в сыром подвале, в истощенье.
Еще строка — и путь окончен крестный.
И это — Блок. Последние стихи...

* * *

Оглушенный матерным граем,
я вопросами взят в оборот:
отчего обозлился народ,
отчего доброту мы теряем?
Доброту, красоту, широту
нашей древней судьбы и натуры...
Погруженные в тлен, в суету,
улыбаться мы стали с натугой.

Стало втрое сегодня сирот
больше, чем после бури военной.
Отчего обозлился народ,
словно сдал свою душу в аренду,
словно выветрило доброту

из нее огнедышащим вихрем...
 Каждый может ступить за черту,
 за которой — обида и выкрик.
 Каждый стать оскорбленным готов,
 оскорбить же другого — тем паче.
 Сколько кружится нынче голов
 из-за мелкой минутной удачи!
 И никто не заметит слезы.
 И никто от любви не растает.
 Неужели и вправду грозы
 очистительной нам не хватает?..

Леонид ПОПОВ

Я так соскучился, что вот
 Опять на лист бумаги белый
 Роняю строчки, неумелый, —
 Всё о тебе — наперечёт.
 А долгий дождь устало льёт,
 И этот голос ровный, мерный
 Дан в утешение, наверно,
 Да вот до сердца не дойдёт...

К себе — чего там! — состраданье, стыда укол.
 Искал я в жизни оправданье и — не нашел.
 Порыв слезы — позорный! — скомкав, я зорче стал
 и увидал: надежд котомка пустым-пуста.
 И ни одно окно не светит (не для спанья!),
 и ни одной душе на свете не нужен я.
 Кого винить? Одни страдания другим дарил,
 и потому для сострадания нет больше сил...

Что, неволюшка жить на краю,
 Средь заморского смрада и срама,
 Где, картавая, «пророки» поют —
 Вопиют! — что не надо нам Храма?..
 Ах, народ, ты устал от щедрот
 Подлой власти, от водки и браги,
 От плакатов, зовущих вперед,
 Прямо в пропасть — под красные флаги.
 В церкви ярые свечи горят.
 Хор поет! Все стройнее и краше...
 Не одни же монахи стоят
 Перед Богом за горяшко наше?!

В лес войдешь — и дыхания не хватит —
 Так, в малиновых угольях весь,
 Сладким жаром шиповник окатит,
 На рассвете успевший расцвести,
 Так, в низине взмывает из праха
 Юный ельник ватагой своей.
 И купается шальная птаха
 В молодой, духовитой хвое.
 Смотришь, кажется, ёлка смеётся!
 Искры солища на иглах дрожат.
 Тронешь — ветку, а сердце забьётся
 Ни с того, ни с чего, невпопад...

Среди берёз такая тишина!
 Осенним днём светло стволов круженье.
 Познав поры венчальной приближенья,
 Душа желаний прежних лишена.
 Уж скоро в жёлтом жертвенном огне
 Берёзовые свечи возгорятся,
 Забытое умение — удивляться! —
 Нежданно возвращается ко мне...

Нам сладко — мы двое с тобою,
 И значит, никто не один.
 Дай Бог нам, поладив с судьбою,
 Дожить до нестыдных седи.
 Средь злобы и смрадного страху
 Зело мудрено уцелеть.
 И веру, как малую птаху,
 Неровным дыханьем согреть...

Я восточных ли, южных кровей,
 Только нет мне на Севере доли..
 Потому, брат, февраль-снеговой
 Никогда не бывает без боли.
 Вот предвестие скорой весны,
 Вот оборванный сон на изломе,
 Ничего не придумаю, кроме:
 Все слова и пусты, и скучны..
 И ни ясного солнышка нет,
 Ни зари, что любовно алеет..
 «Только свет, — ты твердишь, —
 только свет!..»
 А за светом лишь тьма леденеет...

* * *

В лесном краю за дымкой светло-синей
Горит рассвет приветно и тепло.
Там, за лесами, в глубине России
Стоит мое родимое село.

Застыли сосны, словно для парада,
И ширь полей пронзительно светла.
А на холмах Парфеньева посадка,
Как в старину, звенят колокола.

Мое село — истории страница
И отраженье завтрашнего дня.
Здесь земляков приветливые лица
С улыбкой доброй смотрят на меня.

На белом свете сел таких немало.
Наверно, где-то лучше есть края,
Но мне всегда тебя недоставало,
Село родное, родина моя!

АПРЕЛЬСКАЯ НОЧЬ В ЛЕСУ

Едва проклюнулась трава
Смрагдовой щетинкой.
Перед зарей тетерева
Спешат на поединки.

Воркует талая вода,
Вздыхая поминутно,
И улыбается звезда
Загадочно кому-то.

Висит густая темнота
На ветках черной затой.
Вот ветерок вспорхнул с куста
И спрятался куда-то.

Бормочет сонная волна
Бессвязные куплеты...
И тишина... и тишина
До самого рассвета.

* * *

Лес уж зелено обозначился,
Никому теперь не до сна.
И всюду цветет мать-и-мачеха.
Это значит — пришла весна!

Снег последний в оврагах прячется,
Небосвод такой голубой!
А в руках моих мать-и-мачеха,
Мне дареная не тобой..

* * *

Снова дома словно сыч сижу —
За окошком дождик плачет хлипко —
И с тоской в аквариум гляжу:
«Помоги мне, золотая рыбка!»

Не прошу атласа и парчу,
Не прошу поддевичку пунцовую.
Шубку натуральную хочу,
Ну а к шубке — шапочку песцовую.

А еще сапожки высший класс,
Чтобы каблучок по моде выточен.
А еще бельишка про запас,
Тонкого, ну прямо нитка к ниточке.

А еще квартиру надо мне
И машину, а к машине дачу,
Где бы я мечтала при луне.
А еще бы мужа побогаче...

Ничего-то рыбка не смогла,
Пузыри пуская круглым ротиком.
Никуда она не поплыла,
Просто повернулась вверх животином.

* * *

Джип — машина то что надо,
И не только внешний вид.
Хоть канавы, хоть ухабы —
Прет, как будто в море кит.

На столбушке придорожной
Нас название привлекло.
Не заехать невозможно —
«Развеселое». Село.

Пусть негданны, нежданны —
Угостят чайком небось.
На деревне нежеланным
Никогда не будет гость.

...Страшной болью о России
Снова сердце обожгло:
Сорок изб — и все пустые.
Развеселое село!

* * *

И снова презентация гуляет,
Шампанским наполняются бокалы.
Паркетный пол достойно отражает
Старинное убранство пышной залы.
Ах, как наряды дам неотразимы!
Как взгляды их горят призывно-жарко!
Во фраках и при бабочках мужчины
Исполнены достоинства и шарма.
Роскошный бал и превосходный вечер.
В хрустальных люстрах свет трепещет зыбко.
Официанты стройные, как свечи,
С приклеенной служебной улыбкой.
Здесь музыка звучит светло и глухо.
Ко всем гостям достаточно вниманья.

...А у подъезда нищая старуха
За «ради Бога» просит подаянья.

Послания друзьям

Виктор СМЕРНОВ
г. Смоленск

НЕ ЛЕЗЬТЕ В ДУШУ...

Я столько раз был жертвою доверья,
Мной взятого у мамы и зари!
Не лезьте в душу: там живет деревня,
Эпохой стертая с лица Земли.

Живет ее косарь, в работе быстрый.
И рожь, поклоны бьющая холму.
Живет ее пастуший росный выстрел,
На залином лугу разящий тьму.

Живут ее туманы, рощи, кони.
Живет ее поваленный плетень.
И не ее ли высохшие корни
Я в слезы окунаю каждый день?

Живет ее разор и лютый голод,
Ее гармонь и хлеб ее в деже.
И разве виноват я в том, что город
В моей не помещается душе?

Поверьте: не вождя, что хором избран.
И не пустой на площади бедлам, —
Я вижу, как в закат уходят избы
По двум речным покатым берегам.

И, как от крови, вздрогну от росы я.
И хороша судьбина иль плоха,
Не лезьте в душу: там встает Россия,
Услышав голос вещий петуха!..

* * *

А там, где мы с тобой когда-то жили
Среди горячих солнечных лучей,
Последние вытягивает жилы
Крестьянская работа у людей.

О, только лишь теперь душа узнала,
Себе самой не изменив ничуть,
Как нужно струны лиры натянуть,
Чтоб вновь она правдиво зазвучала!

* * *

Я тревогу такую не напрасную —
Вдруг стрясется подобное вновь?
Было время: на белую, красную
Поделили мы русскую кровь.

Чья возьмет? В их стремительном споре
Камни падали в свой огород.
И глубокое черное горе
До сих пор по России идет.

А враги, опьянев от разрухи,
Теша темные думы свои,
Потирают от радости руки,
Обагрив в русской крови.

* * *

На крылечке, на приступочке,
Атакован комарьём,
Я пускаю дым из трубочки
Год за годом, день за днём.

Люди сходятся, расходятся,
Рыщут в поисках угла.
А меня вот Богородица
От суеты уберегла.

За рекой горят фонарики,
Над рекой туман встаёт.
Пейте кровь мою, комарики,
Вам лафа последний год.

* * *

Людей, обиженных судьбой,
Влечёт пространство.
О, как же нужен им покой
И постоянство!
А для меня мой дом, очаг
Есть центр вселенной.
У совести на помочах живу, блаженный.

Я мог убиться, мог пропасть
Средь бездорожья.
Но совесть — это ипостась
Не чья-то: Божья...

* * *

Ни оха, ни вздоха, ни смеха, ни плача:
Спокойный, уверенный шаг.
Сама ли собою решила задача.
Помог ли какой-то чужак?

Ты просто уходишь из сказки, из песни,
Из жизни уходишь моей.
Погибни, исчезни — и всё же воскресни,
Когда запоёт соловей.

Весна у порога, она недалече:
Уже на исходе январь.
Раскинуты крылья, расправлены плечи,
В камине горит календарь.

* * *

Иду на поводу
У старых и у малых.
Приличий не блюду:
Их нет в моих анналах.

Когда же упаду,
Оставшись без присмотра,
Потухшую звезду
Поднимет бледный отрок.

И вспыхнет вновь она,
Смукая царство птичье,
Обретшая сполна
Забывшее величье.

Юрий РАЗГУЛЯЕВ

* * *

А город слишком горд, чтоб помнить обо всех;
Он будет горбиться, но пыжиться и длиться,
И мнить себя — в изгнании столицей.
Не для высоких чувств — но годным для утех.

Он нищ, как большинство живущих в нём.
Но, впрочем, и красив. Как говорил Овидий,
Лицо его весьма печально днём,
А ночью люди спят. И кто его увидит?

Но если посмотреть издали
На городка ночного очертанья,
То разглядишь любовь его, века
Копившую здесь для узнавания,

Для опыта, спасающего нас
От страсти ненасытной и спесивой.
Под небом голубым так просто быть счастливым,
Хотя бы раз всего. Хотя бы только час...

* * *

Лучшее, что я видел,
Это деревья и гнёзда —
Напоминая: у времени
Нет даже слова «поздно».

Просто идёшь и смотришь
На что-нибудь вдалеке.
И птицы танцуют на ветках
И поют на своём языке.

Ждать ничего и не нужно,
Всё исполнится само собой.
Скрытое станет наружным.
Я, может, стану тобой.

Посмотрю твоими глазами
На себя и, быть может, пойму,
Чего мне так не хватает
И главное — почему.

Но в глазах твоих ожиданье
И невысказанный вопрос:
Нет ничего на свете
Лучше деревьев и гнёзд?

Нет ничего на свете
Лучше деревьев и гнёзд
Тех мест, где я просто рос
И просто видел всё это.

* * *

А мне ничего и не надо.
Смотреть бы в зелёную даль.
Одно уже это награда —
Смотреть. Даже если видал.

Родного пространства приметы
Меняются день ото дня.
И дразнят, меняясь, предметы,
И памяти ждут от меня.

Запомню их в лучшее время.
Ведь позже, в стремленье к нулю,
Они уже будут не теми.
Но я-то их не разлюблю.

И много ли надо усилий
Быть верным родной стороне,
Которая честно растила
Любовь и терпенье во мне?

Татьяна ДМИТРИЕВА

* * *

Выйду я на утренней заре
В серебро заснеженных акаций.
Звякнет цепь колодца, и в ведре
Месяц будет ковшиком плескаться.

Спит еще мой тихий городок,
Редкий свет в окне и дым над крышей.
Многоточье из моих следов
Робко на снегу строку напишет.

О бессонной ночи и о том,
Как звезда в окно ко мне светила,
И вздыхал уставший за день дом
О своем о чем-то, и грустил он.

Как, перелистнув еще одну
Разноцветных дней моих страницу,
Изредка, пугая тишину,
Ночь скрипела старой половицей.

С каждым годом стали все длинней,
Словно волчий вой зимою, — ночи,
Но так не хватает часто дней,
Чтобы стала цепь забот короче.

Выйду я на утренней заре,
Легкими мороз вобрав до боли,
И при виде стайки снегирей
Улыбнусь с надеждой и любовью.

* * *

Ах, апрель, гуляка ветреный,
Ты меня не зазывай...
Мои песни недопетые
Будет петь теперь январь.

Город в сизой дымке призрачной
От пылающих костров.
Приговор мне дан пожизненный:
Быть певцом моих дворов.

Где — и драмы, и комедии,
Их сюжеты — не новы:
Дед Щукарь, и Лиза бедная,
И Раскольников, увы...

... Лодка к берегу причалила,
Чьи-то будут два весла?
Жизнь дождинкою качается,
Жизнь былинкой проросла...

* * *
Я думала, ты — из воска,
А ты — из такого сплава!..
Затерянный ты мой остров,
Средь скал неприступных гавань.

Считала себя я сильной,
Не ныла, не прогибалась,
Когда мне ломали крылья,
Да вот, без тебя — сломалась.

Советам моим не внемля —
Жестока, глупа, незряча, —
Я думала, ты — из кремня,
А ты вот сидишь и плачешь.

Не зря за тебя молилась,
Родная моя пропажа.
Я вновь обретаю крылья
И волосы твои глажу..

Анатолий БЕЛЯЕВ

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Первый снег. Под деревьями — тени.
Только там и увидишь теперь
Бледно-жёлтую зелень растений,
Будто в лето последнюю дверь.

Первый снег — на мои георгины,
На неподнятый лён, на овёс.
Первый снег..
Да не снег, а седины
На виски, на остатки волос.

Первый снег — на асфальт, на строенья,
На потоки людей и машин.
Первый снег — на мое настроенье,
А с него и на нежность души.

Первый снег — он, конечно, не первый,
Первый снег — он идёт и идёт..
Вот и все,
Догадались теперь вы,
Что и вам не семнадцатый год.

1973 г.

* * *
Ни двуглавых орлов, ни свастики,
А на курсе — обратный ход..
Ты прошёл, куда метил, — к власти
Не в открытом бою — в обход.

Ты под красное наше знамя
Встал и вырвал его у масс,
Но фактически ты не с нами,
Не за нас ты, а против нас.

1983 г.

* * *
Е. Коновалову
Я знаю, немного осталось
На нашем с тобою веку:
Две-три пятилетки и — старость,
Колотье в спине и боку.

Не ноги откажут, так руки,
Не руки, так зренье, а как
В таком положении лунки
Ты будешь буравить, рыбак?

Давай же судьбу озадачим —
До срока своё отрыбачим,
А после уж как повезёт,
Готовь ледобур и — вперёд.

1988 г.

ДАЧНИЦА

Г.М. Косичкиной

Идёт она из сада,
А на лице досада:
«Зачем мне это надо —
Горбатиться в саду?
Копать лопатой грядки,
Играть с ворами в прятки,
Бежать бы без оглядки,
Авось не пропаду!
Есть пенсия, не лишку —
На хлеб да на чаишко,
А масла с молочишком
И доченьки дадут.
Всё, девки, надоело,
Бросаю это дело!..
Пришла домой, поела,
Воздремнула и занела:
«Уж ты сад, ты мой сад,
Сад зелёнький!..
»

2003 г.

СИНЕЕ НЕБО

Дождик раскосый под вечер. Река.
Песни черемух. Прохлада.
Синее небо да облака...
Что нам, друзья, еще надо.

Ты подтяни свой живот, старина,
А седина тебя красит.
Можно ведь даже и без вина
Взять и устроить нам праздник.

Пусть неуютно и зябко в стране,
Может, когда-то отгадет.
Нам все равно, ни тебе и не мне,
Эту страну не оставить.

Все мы когда-нибудь здесь прорастем
Синему небу навстречу
Песней черемух, раскосым дождем,
Травами, русскою речью.

ПРИЧАЛ

Ну что с тобой? Какая вновь беда
Подстерегла тебя в укромном месте?
И я к тебе, жене своей, невесте,
Спешу в июль сквозь прошлые года.

Издадека ладошкою махни,
Сойди на миг на Солнечном причале,
Где в первый раз любовь свою встречали
И до сих пор, быть может, сберегли...

В дом не спешил, дарил тебе печали,
Хмелел от встреч. В работу уходил.
Но никогда ни с кем не находил
Того, что было с нами на причале.

Спешу к тебе сквозь многие года,
Возьми меня на поводок скорее.
А мне в ответ: «Ещё, мой друг, не время.
Не торопись, седая голова...»

СРОКИ

Всему черед.
Камням, деревьям, людям.
И тем, кого
Мы мучаем и любим,
И тем, кто вслед
За нами к вам придет.

Всему свой миг.
Как солнышко в зените,
Вы на вершине
В почестях стоите,
И к небесам
Возносится ваш стих.
Всему предел.
Словам, делам, страницам.
Склонятся близких траурные лица,
Как много ты
Не сделал, не успел...

Всему свой час.
Дождям, снегам, потерям.
И мы уже
Друзьям своим не верим,
Когда они
Расхваливают нас.

Послания друзей

Ирина КОМАР
г. Хабаровск

СПЯЩАЯ ЖЕНЩИНА

И что за виденья её оплели хороводом?
Такое блаженство сейчас освещает лицо...
Сны неподотчётны. Они обладают свободой,
И ей не помеха тугое на пальце кольцо.
Как спит! Безмятежно на спинке плывёт по течению —
Лишь в детстве далёком веснушчатом так же плыла.
И, слава Создателю, есть в нашей жизни мгновенья,
Когда мы свободны от пороха, пыли и зла.
Мы в снах своих видим и любим себя настоящих,
Доступно нам многое, праздничным и молодым.
Высокое небо играет над женщиной спящей,
А в комнату серое утро вползает, как дым.
И тело привычно пружинит, готовясь к работе,
И в золоте кос беспощадно пестрит седина...
Роняет заря свои алые перья на взлёте,
Над миром дрожит, источая слезу, тишина.

СИНЕЕ НЕБО

Дождик раскосый под вечер. Река.
Песни черемух. Прохлада.
Синее небо да облака...
Что нам, друзья, еще надо.

Ты подтяни свой живот, старина,
А седина тебя красит.
Можно ведь даже и без вина
Взять и устроить нам праздник.

Пусть неуютно и зябко в стране,
Может, когда-то отгадет.
Нам все равно, ни тебе и не мне,
Эту страну не оставить.

Все мы когда-нибудь здесь прорастем
Синему небу навстречу
Песней черемух, раскосым дождем,
Травами, русскою речью.

ПРИЧАЛ

Ну что с тобой? Какая вновь беда
Подстерегла тебя в укромном месте?
И я к тебе, жене своей, невесте,
Спешу в июль сквозь прошлые года.

Издадека ладошкою махни,
Сойди на миг на Солнечном причале,
Где в первый раз любовь свою встречали
И до сих пор, быть может, сберегли...

В дом не спешил, дарил тебе печали,
Хмелел от встреч. В работу уходил.
Но никогда ни с кем не находил
Того, что было с нами на причале.

Спешу к тебе сквозь многие года,
Возьми меня на поводок скорее.
А мне в ответ: «Ещё, мой друг, не время.
Не торопись, седая голова...»

СРОКИ

Всему черед.
Камням, деревьям, людям.
И тем, кого
Мы мучаем и любим,
И тем, кто вслед
За нами к вам придет.

Всему свой миг.
Как солнышко в зените,
Вы на вершине
В почестях стоите,
И к небесам
Возносятся ваш стих.
Всему предел.
Словам, делам, страницам.
Склонятся близких траурные лица,
Как много ты
Не сделал, не успел...

Всему свой час.
Дождям, снегам, потерям.
И мы уже
Друзьям своим не верим,
Когда они
Расхваливают нас.

Послания друзьям

Ирина КОМАР
г. Хабаровск

СПЯЩАЯ ЖЕНЩИНА

И что за виденья её оплели хороводом?
Такое блаженство сейчас освещает лицо...
Сны неподотчётны. Они обладают свободой,
И ей не помеха тугое на пальце кольцо.
Как спит! Безмятежно на спинке плывёт по течению —
Лишь в детстве далёком веснушчатом так же плыла.
И, слава Создателю, есть в нашей жизни мгновенья,
Когда мы свободны от пороха, пыли и зла.
Мы в снах своих видим и любим себя настоящих,
Доступно нам многое, праздничным и молодым.
Высокое небо играет над женщиной спящей,
А в комнату серое утро вползает, как дым.
И тело привычно пружинит, готовясь к работе,
И в золоте кос беспощадно пестрит седина...
Роняет заря свои алые перья на взлёте,
Над миром дрожит, источая слезу, тишина.

ОБИДА

Я устала быть сильной, устала быть сильной, устала.
Я мечтаю поплакать, похлопать, понюхать, понюхать,
Затвориться, закрыться, зарыться под три одеяла,
Чтоб не видеть, не слышать, не помнить, навеки забыть.

Вместо этого утром красивые глазки рисую
И печатаю шаг, и пылает на солнце броня.
...Ты же мне говорил: никогда не полюбишь другую,
А ее полюбил лишь за то, что слабее меня.

ПРОДАЁТСЯ БРЕВЕНЧАТЫЙ ДОМ

Он владел дорогим ремеслом
Нячить раны, вынашивать судьбы.
«Продаётся бревенчатый дом», —
Объявление простое по сути
Сколько вод в океан утекло,
Сколько сил, доброты и страданий!
Эти стены хранили тепло,
Простоту родовых начинаний.
Время споро изводит дрова,
Тёплый пепел пускает на ветер,
А Иваны не помнят родства,
Разбредаясь по шумной планете.
Полонит огороды трава,
Всюду буйная удаль разрухи,
И щемяще-спокойны слова,
Как предвестники горькой разлуки:
«Продаётся бревенчатый дом».

Вячеслав СМЕРНОВ

Из переводов с белорусского
Эдуард Волосевич

СОНЕТЫ

1.

— Я не имел ни званий, ни чинов,
Тем более теперь — не претендую.
Предпочитаю доброту простую —
Без пламенных речей и орденов.

А если мне дарована Любовь,
То я ее одну, как таковую,
В сонете с кровью сердца зарифмую...
Никто Певцу любви не прекословь!

Как хорошо бывать в кругу друзей,
Испытывая их гостеприимство.
И, безусловно, мне еще милей,

Когда у нас и в помыслах единство.
Мог совершить я много, да не смог...
И мне один судья — Всевышний Бог!

2.

Когда тебя любимая покинет,
Ты не ругай ее и не кляни.
Ей, словно легендарной Берегини,
Будь благодарен за былые дни.

Представь себе: ты жил, как будто в сказке,
В твой неуют лишь ею внесены
Цвет радуги, и музыка весны,
И теплота, и трогательность ласки.

Забудется обида, вероятно:
Ты по-мужски «коварную» простишь,
Предотвратив большую неприятность...

И пусть ее супружеский престиж
Со временем не будет преуменьшен.
Скажи о ней: вот лучшая из женщин!

3.

Писали мне — Корюн из Еревана,
Из Средней Азии — поэт Абдукахар,
И украинские — Микита Годованец,
Иван Сварник, Петро Красюк-байкарь.

С Россией подружился я особо:
Мне очень дорог Михалков Сергей.
Есть множество поклонников Эзопа —
Моих собратьев, истинных друзей.

Минуют день за днем и год за годом,
И мы стихи друг друга переводим,
Входя в языкотворческий азарт.

В оригинале все разноголосы.
Дружить ли нам? — Такого нет вопроса.
Сердечно! Волосевич Эдуард.

Павел МЕЛЬНИКОВ

26 АВГУСТА 1998 ГОДА

На ступеньки гляжу со страхом.
Крохотуля-тележка — у ног,
На тележке той — белый сахар,
Тяжеленный тугой мешок!

Я волок его, всю дорогу
Поминая по-русски мать,
Остаётся совсем немного —
На четвёртый этаж поднять.

Это мне-то, в мои-то годы,
При моей-то спине больной!
...Ах, как свищет ветер свободы
Над российской стороной,

Над прекрасною, над безбрежной,
Бесталанной моей страной,
В блёклой «зелени» зарубежной
Утопающей с головой!

Снова падает наш «деревянненький»,
Лихолетие вновь настаёт,
Спички, соль, хомуты и пряники
Закупает российский народ.

Не смотря на здоровье и годы,
Запасает, что можно, впрок...
Как он свищет, ветер свободы!
Как он горек, сладкий песок!

* * *
За стеной, у соседа, с полуночи беседа,
У соседа, я знаю, дочка есть и жена.
Я при встрече случайной не узнаю соседа:
Мы из разных подъездов,
Между нами — стена...

На глухих занавесках супротивного дома
Промелькнёт ненароком чей-нибудь силуэт;
В доме окна — знакомы, и балконы знакомы,
А живущие в доме, разумеется, нет...

Мы замкнулись в себе, нас не манят просторы.
Мы, привычно глотая едкий уличный дым,
Сквозь себя пропускаем безразличные взоры
И пустыми глазами сквозь прохожих глядим.

Всё, чем с детства мы жили,
Оказалось химерой —
И душа опустела, как воздушный
Пропоротый шар...
Никогда не взлететь ей, не наполненной верой,
Лишь дрожит и трепещет,
И колотится оземь душа.

* * *
Уйти. Лечь навзничь в тёплую траву
Над тихой речкой, как бывало в детстве,
В родное небо пристально вглядеться,
До слёз в глазах вглядеться в синеву —

И заглянуть за грань, в миры иные,
Откуда — не пугал, не грозя —
Глядит на нас печально неземные,
Земною болью полные глаза, —

Глаза Оберегателей России,
Небесных Охранителей её...
Увы, они одни уже не в силе
Утихомирить злое вороньё,

Что нагло рвёт ещё живое тело,
Ни дьявола, ни Бога не боясь,
На нас — остоленелых, оробелых —
Чванливо и презрительно косясь...

О русский брат мой, о моя сестра —
И все, кто жизнь не мыслит без России,
Вы, головы склонившие бессильно, —
Спасать себя и Русь и. ишла пора!

ОСЕНЬ 2000

Многие версты моей стороны,
Дали родимой страны,
Точно под гнетом какой-то вины,
Необратимо темны.

Возле вагона толпящийся люд
Пивом дешевым надут,
Век на исходе презрительно лют
Или — по-новому — крут.

Сжалось пространство,
и сжался народ,
Все измельчало кругом,
Грязью заплывающий небосвод
В черные дыры влеком.

Странное нынешнее житье,
Межвековая межа...
Сказка осталась, да только в нее
Нынче не верит душа.

* * *

Я — другой человек, не из этого скопища лиц,
Признающих верховный разврат и безбожье столиц,
Мой удел — тишина и хороший людской разговор,
Что не хочется переводить в лицедейство и спор.

Мне чужая — неволя, в которой мы свально живем,
Где не с теми садимся за стол, и глаголем, и пьем,
И себе изменяем, пытаюсь других покорить,
Лучше с ними бы вовсе не пить нам и не говорить.

Я — другой человек, ну а сколько их рядом — других,
Непонятных порой, а порою душе дорогих,
Из глубинки российской, из чудных речных городов,
Тех, с которыми вместе хоть в небо, хоть в землю готов.

Кто хранит и лелеет родимую русскую речь,
Кто еще не устал нашу правую веру беречь.
С ними я, а не с теми, кто сущность людскую отверг,
И любовью, и завещанный свет...

Я — другой человек.

* * *

Серые тени открытых палат.
Кто виноват в этой ранней болезни?
Кажется, нет пустоты бесполезней,
Чем пустота у больничных оград.

Кровь через сердце струится едва.
Холод несут равнодушные стены,
И не сулят никакой перемены
Сонной сестры о погоде слова.

Ходят ко мне и друзья, и жена,
И говорят, что я выгляжу лучше.
Как им, беднягам, наверное, скучно
Видеть меня после тяжелого сна.

Будет ли в жизни ещё поворот
Мира страданий к миру желаний?..
Выпита куча всяческой дряни.
Замерло тело. Врачебный обход.

* * *

Я ощутил, как царствует полынь
В ежевечернем замкнутом пространстве.
И приходили в голову романсы,
И расточала летняя теплынь
Неуловимый запах декаданса,
Струившийся меж листьев и ветвей..
А миллионлетний муравей,
Не выходя из трудового транса,
Всё шёл и шёл дорогою своей,
И след его во Времени терялся..
Полынный привкус в сумерках полей.

* * *

Сорвать пучок травы
И утонуть
В соцветьях мелких дикого букета,
Внять ароматам северного лета
И распахнуть заждавшуюся грудь..
И ночь отступит
Под наплывом света.

* * *

Был соткан сон
Из детских впечатлений,
Душистых трав
В бутонах голубых.
Хотелось встать
И отряхнуть колени,
Но черед неведомых явлений
Вела туда,
Где виделся обрыв.
И вмиг забыв
О травяном забвенье,
Припав к воде и жажду утолив,
Помчался дальше
Босоногой тенью.
И вдруг над бренным
Миром воспарил,
Бессмертным стал,
Небесный храм открыл
И устремился
В первый миг творенья...
Счастливый сон
Под лёгкий шёпот крыл.

Людмила НОВИКОВА

* * *

Сиреневый омут, сиреневый омут
За древним холмом, за разрушенным домом.

Остаток случайный от барского сада.
Как тайна, звенит ледяная прохлада.

Сиреневый омут... Сирени охапку
Несу не таясь, чтоб обрадовать бабу.

А бабушка ахнет, и крестит, и просит
Хождения к развалинам этим забросить:

«Хозяин всё ходит по старому саду.
А ну как устроит в сирени засаду!»

И будет терзать он, и душу, слышь, вынет,
Усадьбу свою всё никак не покинет».

Как жутко мурашки бежали по телу!
Давно это было, как дым улетело.

Но стала сирень для меня не случайно
И омут, и холод, и радость, и тайна...

СЫНУ

Взрослый мой, вдруг станешь маленьким
В памяти моей.
Оттолкнётся сердце маятником —
Страх ещё больней.
Растрепожусь, штору комкая,
Вопрошая ночь,
Как пред тёмною иконкою, —
Чем тебе помочь?
Тело взрослое — лишь видимость,
А душа мала.
Я в тоске готова выдумать
Два своих крыла.
Полететь по тёмну воздуху
На твоё окно.
Всё обман — и век, и возрасты,
А дитя одно.

* * *

Время придёт, где занятие — сон.
Но сквозь дремоту — качанье деревьев,
Может, почудится чаянье времени
Да колокольный от Лавровской звон.

Души умчат на закате в зарю,
Может, вернутся назад в колеснице?
Снится ли зелень весны январю?
Вот и узнаем, что снится...

* * *

Ещё холодных городских окраин
Луч не коснулся, но шаги слышны.
Жизнь, зарождаясь в этой гулкой рани,
Перечеркнёт удушливые сны.
И поведёт, и отрезвит, и втиснет
В кружащий и весёлый хоровод.
И мысли, и навязчивые мысли
До ночи до грядущей оборвёт.

* * *

Представила твой сон
В неведомой квартире,
В невиданном мной мире.
Дыханье в унисон
Твоё с твоей женой,
Которой подфартило
Стать домом, тенью, тылом,
Соседнею струной.

* * *

Мне снятся вновь луга под Костромой,
 Изба с крыльцом и тёмный сеновал,
 Комариком звенящий, как струной,
 — Я в тех краях ни разу не бывал —
 Ворота, палисадники, скамьи,
 Коровье стадо и пастуший кнут...
 Там жили-были прадеды мои.
 Там и теперь Бахваловы живут.
 Своим родством с крестьянами горжусь,
 А навещать — не стану, не совру.
 Кто я для них? И вдруг я окажусь
 Незванным гостем на чужом пиру?
 Да... Круговерть скитаний и разлук
 Ветвящийся побег наш увела
 Так далеко, что не протянешь рук:
 «Мы с вами — ветви одного ствола!»
 Еще больнее: через столько лет,
 В один из отпусков очередных,
 Поехал бы.. а там уже — и нет
 Моих однофамильцев и родных?..

Вячеслав ДРОБЫШЕВ

ДОМИК ЗА ВЕКСОЙ

Старый домик за Вексой,
 Где сирени цвели, —
 Мои бедные весны
 Здесь когда-то прошли.
 Старый домик за Вексой,
 Три кувшинки в пруду
 Через годы и версты
 Все равно я найду.
 Помню, у сенопресса
 Бились мы в городки,
 На опушке у леса
 Корчевали пеньки.
 Они жарко пылали
 В круглой печке зимой
 В час, когда прибегали
 Мы из школы домой.

В переулке знакомом
 Руки-ноги дрожат,
 Вместо старого дома,
 Вижу, трубы лежат.
 Я у прошлого греться
 Вновь сюда не приду...
 Через память о детстве
 Скоро газ проведут.
 Ну чего ты завелся,
 Говорю сам себе, —
 Старый домик за Вексой —
 Это в прошлой судьбе.
 Будет в городе краше,
 Если он не дымит.
 Ну, а прошлое наше
 В каждом сердце щемит.

МОЛЧАНИЕ

Отчего так грустна — не пытал.
 Не ответила: «Осень... Не видишь?»
 Лишь оттенок неясной обиды
 Между нами отравой витал.

Не выводывал, муку сносил
 И страхась ледяного ответа:
 «Разве было неласковым лето?» —
 «Да, любовь наша кончилась вся».

Ни о чём, изводясь, не спросил.
 Отрепённо в окошко глядела.
 А казалось: за край улетела,
 И вернуть уже не было сил..

ПРЕДЧУВСТВИЕ

Подступит пора уходить —
 Не помни ни худом, ни лихом.
 Печаль эта скоро утихнет,
 Уснёт, и не станешь будить.
 А утро даст мудрый совет,
 И добрые люди утешат:
 Мол, был далеко не безгрешен..
 Мол, клином не сходитесь свет..

И в чём-то себя оправдав,
 Ты выйдешь в наряде манящем,
 И этим своим настоящим
 Меня и бывшее предав.

ДИАЛОГ

— Ты скажи, любимый мой,
Где увидимся с тобой?
— У тебя, не у меня,
Дома у меня семья.
— Ты скажи, любимый мой,
Как увидимся с тобой?
— Позвоню по телефону,
А потом подъеду к дому.
— Ты скажи, любимый мой,
Долго ль буду я с тобой?
— Полчаса — и уйду,
Я иначе не могу.
— Ты скажи, любимый мой,
Часто ль буду я с тобой?
— В месяц раз, а может, — два.
Часто не могу — дела!
— Ты меня, мой дорогой,
Вспоминаешь ли порой?
— Ну, конечно, вспоминаю!
Иногда. Когда икаю.

* * *

Я люблю тебя так же, как прежде.
Я с тобой, но как будто одна.
Словно женщина в белой одежде —
Занавеска в проёме окна.

Что из чаши любви мне досталось?
Только горечь.

Шептала: «Вернись!»
Обречённо рвалась и металась
Занавеска, держась за карниз.

Ты вернулся?! Да нет, показалось..
Без тебя мне и жизнь не мила.
То не я — занавеска бросалась
Из раскрытого настежь окна.

* * *

Отпустите меня, дорогие мои, отпустите.
Я любил вас как мог — извините, что мало любил.
Не прощайте мне то, что нельзя, а что можно — простите.
В этой жизни я жил как умел, и не стану другим.
Если был я достоин любви — отпустите с любовью.
Если был перед кем виноват — постарайтесь понять.
Я не много хочу — я хочу не испытывать боли,
А ещё — чтобы кто-то хоть изредка помнил меня.

Отпустите меня, голубые далёкие дали,
Где я не был и где я не буду уже никогда.
Мой билет не действителен, мой самолёт улетает,
Прощайтесь со мной, поезда, я на вас опоздал.
Отпусти, поминальная свечка, сгори и погасни.
Отпусти меня, ива из детства на нашем дворе.
Все, кто был в этом мире — счастливым, огромном,
прекрасном, —
Отпустите меня, и тогда я смогу умереть.

* * *

В тучах плавают луна,	Кроме шороха шагов
Звёзды не видны.	По сырой траве,
Ничего не надо нам,	Кроме шёпота в ночи
Кроме тишины,	И блестящих глаз,
Кроме поля и лугов,	Кроме пламени свечи
Дремлющих во мгле,	В доме, ждущем нас.

Алексей ЗЯБЛИКОВ

* * *

Вот такая удача
Выпадает мне вдруг:
Приглашает на дачу
Состоятельный друг.

Будет всё расчудесно:
Солнце, сад, водоём!
Будет радости тесно
В чутком сердце моём.

В лёгкой люльке шезлонга
Я отправлюсь в полёт,
Ожидая гонга,
Что на полдник зовёт.

Буду, жарко вдыхая
Аромат тубероз,
Я за чашкою чая
Трогать влажный зачёс...

Будет так, а покуда —
Затрапезно живу:
Без надежды на чудо
Жгу на склонах траву.

Седогривую клячу
Угощу сахарком
И от дыма заплачу.
Или дым ни при чём?

* * *

Играем в жмурки — я опять вожу.
Смешочками дразнимый и хлопками,
По комнате отчаянно кружу,
Нагретый воздух тискаю руками.

Иду на голос — кресло и торшер.
Спешу на шорох — снова незадача!
Из душных выбираюсь из портьер
И бодро стойку делаю собачью.

Вот чей-то локоток — вкушаю я
Упругость на крючок попавшей рыбы.
Похоже, это ты, любовь моя:
Твои воланы, локоны, изгибы.

Теперь уж ты — потешь да попляши!
Смеясь, повязку с глаз срываю живо:
Кругом дремучий ельник Ни души.
И под ногами — чернота обрыва.

* * *

Женщины, не бойтесь! Я не страшный.
Лгут, что-де заносчив, нравом крут.
Возвышаюсь неприступной башней,
А в ней птички райские поют.

Борода — так это для сугрева!
Острое словцо — так это что ж?..
Вот моё фамильное вам древо —
Нет в нём ни вельмож и ни святош.

Мелкие оставьте пересуды,
Подходите, кто не глуп и храбр!
Посреди пластмассовой посуды
Я стою — старинный канделябр.

Пусть не смог с привычным фоном слиться,
Пусть манеры слишком хороши,
Но готов в пожар переродиться
Огонёк невидимый души.

Евгений РАЗУМОВ

* * *

Царь-пароход причалит к пристани
в губернском городе во сне.
Рожденные соцреалистами,
мы втянем голову в окне.

А за окном тысячеликое
лицо Россиюшки стоит.
И государь, как все великое,
имеет самый трезвый вид.

Хотя устал он от Распутина
и камарильи, по всему.
Мы, стриженные все под Путина,
уж не завидуем ему.

Мы знаем: впереди — эригерцоги,
масоны, розы люксембург..
И левизны болезни детские.
И город — Екатеринбург.

Но ждет на выставке купечество
и полицейские чины.
Два императорских величества
сыграть историю должны.

Раздать часы по назначению,
одобрить города меню..
Империи часы последние
и я за пазухой храню.

Идут. Идут и даже тикают.
Лишь стрелки погнуты кирзой.
Да государь, как все великое,
в телеге корчится босой.

* * *

Сидит сорока на заборе.
Сидит на шляпе мотылек.
Полна идилия во взоре
лягушек, бабочек, сорок.

Тут и кузнечикам раздолье,
и мыслям в глиняной башке.
Нога оплетена фасолью.
Вертушка детская в руке.

Другая занята гирляндой
консервных банок. Красота.
И кошка где-то под верандой
зовет соседского кота.

Круговращенье жизни всякой
на этой почве перед ним
еще дополнится собакой
и человеком не одним.

Тот — ведра носит от колодца,
а этот — чинит драндулет.
Проходит жизнь. И остается
глядеть ей, видимо, вослед.

И звать пугалом все лето,
а повезет — и зиму всю.
Что смысла не имеет это, —
вопрос под пиво к карасю.

* * *

Вместо вишневого сада
Пара штaketин в снегу.
Вроде проститься бы надо,
милая, и — не могу.

Бабочкой ты не порхала —
просто брела наугад.
Эти штaketины мало
напоминают тот сад.

Ягоды съедены. Скоро
станет землею листва.
Но — никакого укора,
милая, ибо — права.

Ты не могла бесконечно,
жизнь, оставаться моей.
Суну в мешок свой заплечный
пару твоих сухарей.

* * *

Бывает,
в июне приснится зима
такая тяжёлая, злая.
Кто зимние фильмы в июне снимал,
об этом достаточно знает.
Но там понарошку
перчатки, пальто.
Снега там второго помола.
И в этих солёных сугробах никто
не мёрзнет.
Искусственный холод
страхует от снега реального,
коль
декабрь умирает к обеду.
(В кладовке моей есть пластмассовый конь,
на нём уже вечность я еду,
а сдвинуться даже на шаг не могу.)
Во снах же картина такая:
то мёрзну, зарывшись в июньском снегу,
то в марте картошку копаю.
Скорее всего, потому я всегда
по жизни спокоен и весел,
что не нарушал ещё конь никогда
сезонных в себе равновесий.
Вдруг сильно качнулась реальность,
и мне
в таком-то опаснейшем крене
был сон про октябрь.
Я проснулся.
В окне —
точно такое же время...

* * *

Ко мне пристроилась девчонка,
но я был пьян и всё такое.
Огнём на маленькой ручонке
кольцо горело золотое.

Ещё я помню зелень юбки.
Прекрасно помню имя Маша.
Но все дальнейшие поступки
угробили прогулку нашу.

Тот вечер получиться мог бы.
Но, не поладив с тормозами,
остался я в костюме мокром,
а Маша — с мокрыми глазами.

И вряд ли вновь сверкнёт колечко
врагу доверчивых и нежных.
Видать, судьба —
в волнах прибрежных
вставать и падать бесконечно...

* * *

Вчера повесил на гвоздок
пейзаж кавказский.
Какая кисть.
Какой мазок. Какие краски!

Какое клочкотанье вод!
Ветра какие!
Но дома спится лучше под
шумы людские.

Отправил всё же на кровать
кавказский дождик —
такое мог нарисовать
большой художник.

Но лишь когда за стеной гул
проснулся дремлющий,
я окончательно уснул
под акварелью.

Юрий СЕМЕНОВ

УЖЕ БЫ НЕ ХУЖЕ БЫ...

Кто-то пишет лучше, кто-то хуже
В конце или в начале стихопроб.
И кому-то шире или уже
Одаренность вылепила лоб...

Евгений Бойцов

Кто-то пишет лучше, я не спорю.
Кто силен в начале, кто в конце.
Только тема в этом разговоре
Об одном предмете на лице.
Если вы подумали, что это
Глаз там, нос, щека или губа,
Вы ошиблись, ибо для поэта
Ничего нет актуальней лба.
Это факт, как дважды два — четыре.
И поскольку уж на то пошло,
Лоб вот у меня в два раза шире,
Чем у Саши Пушкина чело.

ДОСАДА

Напуганный вчерашним словом,
Я знала — так тому и быть! —
Опять уйдешь к пустоголовым
Их нежить, холить и любить.

Вера Арямнова

Ты даже слова испугался.
Подозревала: будет так.
Не выражался, не ругался,
А просто смылся, как дурак.
Не снабжена большим умишком
Твоя пустая голова.
Я оказалась умной слишком,
Как, впрочем, и мои слова.
Тебе-то что: ты меланхолик,
В тебе самца не истребить,
Пустоголовых будешь холить,
Красивых дурочек любить.
Возникло много мыслей свежих,
Я двое суток не спала:
Пустоголовых проще нежить,
А я-то, дура, не смогла.

ДРУГАЯ ИСТОРИЯ

Вчера была совсем другая,
А нынче стала вдруг иной.
Ты и в одежде, и нагая
Свет излучаешь неземной.

Владимир Максимов

За обе щеки уминая,
Увидел я тебя нагой.
Вчера была совсем иная,
А стала вдруг совсем другой.
И вспомнил я, как было прежде,
Не перепутав ни фиги:
В фуфайке и в любой одежде
Была ты сердцу дорога.
Сегодня ж будто не со мною
Все происходит, как во сне.
Стоит такое неземное,
Что даже стало стыдно мне.

СОДЕРЖАНИЕ

Виктор ШЕРШУНОВ, глава администрации Костромской области	3
Виталий ПАШИН	5
Евгений СТЕПАНЕНКО	7
Михаил БАЗАНКОВ	9

ПРОЗА

Ольга ГУССАКОВСКАЯ	16
Олег КАЛИКИН	31
Александр ХЛЯБИНОВ	38
Зинаида ЧАЛУНИНА	42
Алексей АКИШИН	46
Алевтина АЛФЕРОВА	51
Борис БОЧКАРЁВ	57
Валерий СЕКОВАНОВ	62
Вячеслав АРСЕНТЬЕВ	68
Павел РУМЯНЦЕВ	71

ОЧЕРКИ, СТАТЬИ, РЕЦЕНЗИИ

Константин АБАТУРОВ	79
Николай АЛЕШИН	86
Алексей БАЗАНКОВ	91
Роман СЕМЕНОВ	97
Алексей ЗЯБЛИКОВ	102
Валерий БЛАГОВО	109
Юрий ЛЕБЕДЕВ	111

ПОЭЗИЯ

Владимир КОСТРОВ	122
Виктор ЛАПШИН	124
Алексей СКУЛЯКОВ	126
Вячеслав ШАПОШНИКОВ	127
Геннадий ПОПОВ	130
Олег ХОМЯКОВ	131
Станислав ЗОЛОТЦЕВ	133
Леонид ПОПОВ	134

Станислав МИХАЙЛОВ	136
Светлана ВИНОГРАДОВА	137
Виктор СМЕРНОВ	139
Сергей ПОТЕХИН	140
Юрий РАЗГУЛЯЕВ	142
Татьяна ДМИТРИЕВА	143
Анатолий БЕЛЯЕВ	145
Виктор ВЕСЕЛОВ	146
Ирина КОМАР	148
Вячеслав СМЕРНОВ	149
Павел МЕЛЬНИКОВ	150
Сергей ХОМУТОВ	152
Юрий РЕБИННИК	153
Людмила НОВИКОВА	154
Станислав БАХВАЛОВ	156
Вячеслав ДРОБЫШЕВ	157
Николай САМОУКОВ	157
Светлана ПИСАРЕВА	158
Сергей ИВАНОВ	159
Алексей ЗЯБЛИКОВ	159
Евгений РАЗУМОВ	161
Дмитрий ТИШИНКОВ	163
Юрий СЕМЕНОВ	164

КОСТРОМА

Литературно-художественный сборник

пятый выпуск

За справками обращаться по адресу:
156005, г. Кострома, пл. Конституции, 1.
Костромская областная писательская
организация. Телефоны: 31-21-09, 31-35-02.
Web page: <http://www.kosnet.ru/~bam>

Общее редактирование — **М.Ф.Базанков**
Корректura — **Н.Т.Перетягина**
Компьютерный набор и оригинал-макет —
областная писательская организация

Общее оформление - М.Ф.Базанков

Издание осуществлено при участии
администрации Костромской области.

Сдано в набор 02.03.2004. Подписано в печать 30.05.2004.

Формат 60х90^{1/16}. Бумага офсетная. Печать офсетная.

12 учетно-изд. листов. Усл. п. листов 10,5.

Заказ № 2523. Тираж 600 экз.

Отпечатано в ГП «Областная типография им. М.Горького»,
г. Кострома, ул. П. Щербины, 2.